

**Илья Эренбург**  
**ЗАГОВОР РАВНЫХ**

Приведено по изданию:  
Собрание сочинений в девяти томах. Т.3.  
М.: Художественная литература. 1964.

Веб-публикация: библиотека Vive Liberta и Век Просвещения, 2009.  
Дореформенная орфография оригинала сохранена. Примечания даны нами.

**1**

Это был будничный день септиди семнадцатого плювиоза года третьего или по старому календарю четверг седьмого февраля 1795 года, посвященный упраздненною церковью святой Доротее, а революцией лишаю - растению, как известно, паразитарному. Впрочем, парижане не думали ни о ботанике, ни о святыцах. Они думали скорей всего о хлебе. Возле булочных в длинных очередях раздавалось:

- Говорят, сегодня будут выдавать только по две унции...
- В Сан-Марсо и того не дали...

Дул мокрый холодный ветер с Ла-Манша. От него некуда было укрыться. Дровяники презрительно щурились на порогах своих лавочек. Дровяники выглядели ювелирами. Утром на улице Муфтар нашли четыре трупа: женщина, трое детей. Они замерзли или, может быть, умерли от голода. Возле Рынков гражданска Моро, узнав, что хлеба сегодня, то есть в септиди или в четверг, в день «лишай», вовсе не будет, крикнула булочнику:

- Вот мои доги! Мне нечем их кормить. Убей их!

Гражданку Моро, разумеется, тотчас арестовали. Одни говорили, что она якобинка и в дни Робеспьера танцевала возле гильотины. Другие, напротив, уверяли, что она состоит на жалованье у наглого эмигранта, который смеет именовать себя «наследником». Дети гражданки Моро плакали.

Луи Лабра, агент полиции, неодобрительно качал головой - столько работы: женщины говорят противоправительственные речи, злоумышленники умирают у всех на глазах, наконец, не утихает холодный ветер с Ла-Манша. Уж не Питт ли насыпает его на Республику?.. Какая зима! Пять педель Сена стояла замерзшей. Не мудрено, что юркие дровяники обратились в ювелиров. А теперь этот ветер...

- «Республиканский курьер»! Революция кончилась!.. Сыщик настораживается - недозволенные возгласы! Кто тут? Роялисты? Анархисты? Агенты Кобурга? Он хватает крикуня за шиворот. Это десятилетний мальчуган, который продает газеты.

- Кто тебе сказал, что революция кончилась?

- Один очень важный гражданин. У него были золотые часы, вот такие, он купил газету. Он дал мне ливр и сказал:

«Слава богу, революция кончилась...»

Луи Лабра - сознательный гражданин. Он уважает Конвент, бюст Руссо в саду Тюльери и патриотические песни. Если в душе он уважает и золотые часы, то об этом он никому не говорит. Сокрушенно он увещевает мальчика:

- Этот гражданин, наверное, английский агент. Или прихвостень Робеспьера. Революция, мой друг, не может кончиться. А тебя вот за такие крики не погладят по головке.

Сыщик тащит мальчугана, тот плачет. Это происходит возле театра Республики. Место людное, да и час бойкий - скоро шесть. Граждане торопятся на

спектакль. Иные останавливаются: кого это схватили? Якобинца? Воришку? Узнав, в чем дело, все усмехаются. Но вон тот, с длинными локонами, спадающими на черный бархатный воротник, гогочет в лицо растерянному сыщику:

- Да, кончилась... кончилась... и пора!..

Лабра хочет схватить смешливого щеголя, но рука, поднятая было, падает: кто его знает?.. А вдруг Конвент сегодня постановил, что революция действительно кончилась? Ведь Конвент и не то постановлял!

Франт швыряет кассире пачку ассигнаций и, независимо жмурясь, входит в вестибюль театра, а Лабра ведет дальше плаксивого мальчика. Ветер не слабеет.

В театре Республики спектакль начался с запозданием: не хватало свечей, да и суфлер вдруг потребовал жалованье серебром. Он клялся, что не способен суфлировать натощак. Его едва уломали. Ставили трагедию «Эпикарисса и Нерон». Когда поднялся занавес, сверху раздались жидкие хлопки - «браво, Тальма!». Но партер в ответ угрюмо ворчал: «Тише!» Молодые щеголи с длинными локонами не любили Тальму<sup>1</sup>: он слыл якобинцем. Первый акт прошел спокойно. В антракте каждый развлекался по-своему: деловые граждане шушукались - они перепродаивали мануфактуру, свечи, мыло, колбасу. Модницы, не смущаясь, здесь же вытаскивали из шелковых сумочек образцы товаров. На галерке солдаты щекотали визгливых девок. Юноши с локонами упражнялись - кто ловчее: они кидали в бюст Марата тухлые яйца и мерзлую репу. За кулисами актер Фюзиль говорил Тальме:

- Кажется, сегодня эти молодцы что-то замышляют...

Тальма махнул рукой: пусть! Тальма играл Нерона, коварного жестокого и несчастного, который всевластен и бессилен, злобен, горек, одинок.

- Пусть!..

У Тальмы была хорошая память. Теперь его ругают «якобинцем»? Что же, прежде ему кричали «жирондист». А он? Он только актер, комедиант, ученик великого Гаррика. При Робеспьере ему запретили играть Брута - в трагедии были стихи: «Кто смеет задержать по ложному доносу граждан Рима?..» А сколько раз в те времена его заставляли вместо «принц» или «маркиз» говорить «гражданин», хоть это и нарушало ритмalexандрийского стиха! Сколько раз вместо монолога он должен был декламировать неграмотные вирши! А теперь все наоборот. Нет, вернее, все то же. Актер играет якобинца, в него кидают камни. С Дюгазона сорвали парик: Дюгазон, видите ли, «кровопийца»!..

Как играл он Нерона! Как уныло улыбался, как трудно и грузно умирал! Но нет, игра Тальмы не могла взволновать зрителей, трагедии для них давно стали повседневным бытом. Дама в правой ложе сказала своему спутнику:

- Тальма сегодня удивительно играет. Видно, он хорошо понимает душу тирана.

Кавалер, однако, не разделял ее чувств. Он любил старую Францию и старый театр. Тальма в каких-то простынях вместо парадного камзола, без парика, Тальма, который говорил, а не пел монологи, казался ему невежественным якобинцем. Робеспьером на подмостках. Он ответил даме:

- Тальма просто ничего не понимает. Это даже не актер. Это жалкий шут, годный разве что для шекспировского балагана.

Кто-то в партере крикнул:

- Эй ты, якобинец!.. Ты убил моего брата!..

Он показал на гражданина, сидевшего в шестом ряду. Юноши с локонами тотчас сочувственно заверещали: «Смерть якобинцам!» Гражданин из шестого

<sup>1</sup> Франсуа Жозеф Тальма (15.01.1763 – 19.10.1826) - актер. Фамилия его обычно не изменяется по падежам. Материалы о нем: <http://vive-liberta.narod.ru/ref/ref3.htm#talma>.

ряда бессмысленно улыбался: он глядел на пышные груди Эпикариссы. Он продолжал улыбаться и после того, как ретивый щеголь ударил его по лицу. Он только благодушно пробормотал:

- У меня тоже убили брата. Это, наверное, общая судьба...

Нерон умирал на сцене. А солдаты продолжали щекотать девок, и модницы думали о выгодно перепроданном свином сале. В одном из первых рядов сидел гражданин Сансон<sup>2</sup>. На нем был длинный каштановый редингот, и, замечая направленные на него взгляды красоток, гражданин Сансон время от времени кокетливо охорашивался. Трагедия не занимала его, он зевал. В театре «Водевиль» или в театре «Фейдо» куда веселее! Как долго и как скучно убивают эти простаки какого-то Нерона! Позевывая, Сансон вспоминал иные гримасы. Те умирали тоже на подмостках. Он придерживал их. Он показывал взыскательной публике головы. Он честно служил всем: королю, Геберту, Дантону, Робеспьеру, - и он один уцелел. Он был необходим всем: ведь он не говорил пламенных речей, не выдумывал новых законов, не клялся, не бил себя в грудь, не горланил песен, нет, он только деловито отрезал головы. Что ему тирады комедианта Тальмы? Он ведь слышал, как молился на эшафоте последний Капет, как пели жирондисты, как усмехался Дантон и как закричал, дико, по-звериному, раненый Робеспьер, когда он, Сансон, сорвал с его челюсти повязку. Зачем ему трагедии? Он сидит здесь только потому, что после дурацкого «Нерона» обещана веселая пьеса. Гражданин Сансон любит в театре посмеяться. Тальма напрасно старается. Здесь его никто не поймет.

После «Нерона» должна была идти комедия. В антракте щеголи оживленно совещались. На сцену выходит актер Фюзиль<sup>3</sup>. Он играет Криспена. Он улыбается плутовской улыбкой. «Только сидящие в первом ряду могут заметить, что щеки его скашивает нервная гримаса. В партере кричат:

- Читай «Пробуждение народа»!
- Громче читай!
- Это якобинец! Это убийца! Он в Лионе перебил тысячи невинных!
- Пусть читает! Пусть поперхнется!..

Исчезла плутовская улыбка, осталась только гримаса страха. Что делать? Придется повторять эти страшные слова, призывы к убийству своих, может быть, его же, Фюзиля. Он начинает декламировать. Но те, с локонами, не унимаются:

- Он не смеет этого произносить! Он недостоин!..
- Пусть читает Тальма! Ему тоже полезно... Эй, Тальма, выходи!..

Шум становится угрожающим. Щеголи теперь подошли вплотную к сцене. Тогда выходит Тальма. Он еще не успел снять с себя тогу Нерона. Он учтив и высокомерен. Хорошо, он прочтет сейчас «Пробуждение народа». Мало ли читал он нескладных стихов, од Другу народа Марату и од Шарлотте Кордэ? Плохие стихи остаются плохими стихами. А Шекспир здесь не нужен никому. Нужны кровь да еще ящики со свиным салом.

Фюзиль хотел было уйти. Его не пустили:

- Стой и держи свечу!

Илья Эренбург

ЗАГОВОР РАВНЫХ

Vive Liberta и Век Просвещения, 2009

<sup>2</sup> Шарль Анри Сансон (1739-1806) - парижский палач в четвертом поколении.

<sup>3</sup> Фюзиль (ок.1755 – 8.04.1825). Точными и подробными сведениями о нем мы пока не располагаем. По политическим взглядам он был, вероятно, близок к эбертистам, однако к репрессиям в Лионе в ноябре-декабре 1793 г. он, по-видимому, непричастен.

Нерон декламировал бездарные стихи освистанного поэта Суригьера<sup>4</sup>, а шут Криспон держал канделябр. Рука Фюзилия дрожала, и смешно плясала на стене тень римского тирана. Уныло и бесстрастно Тальма повторял:

О тигры из зверинца,  
Вам нашей крови мало!  
Держите якобинца!  
На бойню каннибала!

Щеголи хором подхватывали: «На бойню!..» Они не хотели глядеть комедию:  
- Долой Фюзилия!

Спектакль был сорван. Об этом пожалели солдаты на галерке и гражданин Сансон - ему так и не удалось посмеяться. Юноши с локонами, оставив актеров, занялись бюстом Марата. Одни кричали: «Разбить!», другие: «На помойку!» Победили последние. Ночная кавалькада казалась заманчивой.

Прежде всего они направились на улицу Шабанэ, где жил редактор «Народного оратора», вчера - якобинец, представитель Конвента в Тулоне, любитель гильотины и золота, сегодня - Друг порядка, вождь «золотой молодежи», всегда кокетливый и тщеславный Фрерон<sup>5</sup>. Он вышел к ним улыбаясь - это его опора! Как полководец на штыки, глядел он на длинные локоны.

- Вы знаете, что у меня немало врагов. Еврей Моисей Бейль<sup>6</sup> обвиняет меня в тулонских зверствах. Он не француз душой и хитер. Он хочет отнять у вас «Народного оратора».

Один из юношей спросил другого:

- О чём это он?..

- Да Бейль опубликовал его письма из Тулона. Оказывается, при Робеспье Фрерон хвастался, что посыпает на гильотину ежедневно двести голов. Там так и сказано: «Головы сыплются градом...»

- Ну что вспоминать прошлое! Пусть хоть черт, не то что якобинец. Зато теперь он служит нам...

Фрерон шел впереди. Он любовался собой - ореховыми штанами, клетчатым фраком, мягкими сапогами, двумя парами больших часов с множеством брелоков, узловатой дубинкой. Улицы были пусты. Только порой попадались бездомные, дрожавшие под холодным ветром. Их зазывали:

- Идите с нами! Мы воздаем почести собаке Марату. Но те угрюмо бормотали:  
- Сегодня вовсе не выдавали хлеба...

Один, полуоголый, весь обросший седыми волосами, крикнул:

- При Марате было лучше! Вам, может быть, хуже, а нам лучше...

Взглянув на его ощеренное лицо, Фрерон нырнул в воротник:

- Оставьте его! Не стоит связывать...

Дойдя до Рынков, юноши остановились возле мясной лавки. В желобке они увидали кровь. Они вымазали гипсового Марата бурой жижей. Фрерон сказал:

- Теперь следует очистить воздух. Вот листки анархистов «Трибун народа». Давайте-ка сожжем их!

Vive Liberta и Век Просвещения, 2009

<sup>4</sup> «Гимн Суригьера, на который он написал музыку «Le reveil du peuple» («Пробуждение народа»), и возбуждение, вызванное этой песней во время директории, являются удивительным примером того, во что может превратить незначительную вещь политическая острота момента. «Пробуждение народа» — произведение, написанное Гаво в 1795 г., стало термидорианской песней, песней, подхваченной и в течение четырех лет исполняемой врагами республиканского режима, старавшимися восстановить деспотизм: падение Робеспьера дало им надежды на это.» (см. книгу Анри Радиге, «Французские музыканты эпохи Великой французской революции» [http://enlightment2005.narod.ru/art/mus\\_radiguet1.pdf](http://enlightment2005.narod.ru/art/mus_radiguet1.pdf)). Текст «Пробуждения народа» приведен в нашей библиотеке: [http://vive-liberta.narod.ru/biblio/folk\\_1.htm#song1](http://vive-liberta.narod.ru/biblio/folk_1.htm#song1).

<sup>5</sup> Луи-Мари Станислас Фрерон (17.08.1745 - 15.07.1802). Депутат Национального конвента, один из «правых» термидорианцев. См. о нем: <http://vive-liberta.narod.ru/ref/ref3.htm#frer>. О нравах «золотой молодежи» см., например: К.Добролюбский, «Термидорианская реакция (общественная жизнь по свидетельствам очевидцев)» [http://vive-liberta.narod.ru/journal/dobr\\_therm-react.pdf](http://vive-liberta.narod.ru/journal/dobr_therm-react.pdf).

<sup>6</sup> Моиз Бейль, депутат Национального конвента, член Комитета общей безопасности.

Развели костер. А вокруг костра пели: «На бойю каннибалов», плясали и плевали - кто ловчее - в гипсового Марата. Особенно радовался тот щеголь, что по дороге в театр озадачил сыщика. Он плясал, пел, плевал и, вкусно причмокивая, говорил: «Кончилась революция, кончилась...» Он не был ни аристократом, ни роялистом, ни агентом Питта. Он просто был молодым, здоровым, зажиточным парнем, и ему хотелось пожить всласть.

Пока на подмостках умирал Нерон, пока резвились щеголи и расторопный Фрерон пытался смыть бычьей кровью следы человеческой на своих холеных руках, сыщик Луи Лабра работал. Он рыскал по городу, заходил в кофейни, прислушивался к разговорам. Его замечали: «Шпион! собака!» Но он был честным тружеником и терпеливо подставлял поближе к оскорбителям свое розовое оттопыренное ухо. Больше всего донимал его ветер с Ла-Манша. Лабра чихал. Поздно вечером он докладывал начальнику:

- В театре Республики освистали Фюзилия. Потом избили гражданина Боро. Избитый арестован. Бюст Марата похищен. В театре «Фейдо» бюст Марата разбит. В театре «Водевиль» многие аплодировали словам цырюльника: «Давайте веселиться, может быть, через три недели нас больше не будет». Я хотел установить, кто именно аплодирует, но это мне не удалось. Разбиты два бюста Марата. В театре «Эгалите» публика громко смеялась, когда актриса сказала: «Я съела большой пирог, то есть бывший пирог»... Один гражданин в фойе говорил: «Теперь все бывшее: бывшая улица, бывший маркиз, даже пирог и тот бывший...» Его на всякий случай арестовали, Бюст Марата там также разбит. Начальник усмехнулся:

- Ломкая посудина! Вот с тем, что на площади Карусель, будет побольше работы... Ну, а кроме статуй? Разговоры на улицах, в кофейнях?

- Все больше о курсе ассигнаций. Боятся, что скоро ничего нельзя будет купить. Одна крестьянка на рынке неприлично кричала: «Зачем мне бумажки? подтираться?..» В квартале Антония выдавали по три унции. Один рабочий сказал булочнице «гражданка», та начала кричать: «Вот из-за этих-то слов нет хлеба!..» На улице Шарони женщина, кормившая грудью ребенка, упала без чувств от голода. Такие происшествия, конечно, возбуждают народ...

- Постойте, Лабра! А политические разговоры? О наших победах в Голландии? Об изменении конституции? Луи Лабра сокрушенno вздохнул:

- Об этом я ничего не слыхал. Все жалуются на погоду: ветер, холод... Потом, конечно, безработица...

Отпустив сыщика, начальник начал диктовать очередной рапорт. «Общественное мнение несколько возбуждено. Конечно разумные граждане всецело одобряют меры Национального Конвента, ограждающие свободу торговли. Что касается рабочих, то они страдают от недостатка в работе, а также от дурной погоды...»

Здесь начальник чихнул. Чихнул подобострастно и писец. Диктовка была прервана вестовым. Прочитав приказ Комитета общественного спасения, начальник позвал несколько полицейских, среди них и Луи Лабра.

- Ордер на арест. Дом номер двести двадцать восемь по улице Сан-Антуан.

Указанный начальником полиции дом помещался на углу пассажа Ледигьер. В нем было четыре этажа. На фасаде выведено было красной краской: «равенство или...». До недавнего времени значилось - «или смерть». Но владелец дома, мясник Гарон, слово «смерть» замазал: оно оскорбляло народные чувства. После термидора никто не хотел больше слышать о смерти. Люди только-только начинали жить. Надпись стала загадочной: «или»... Что «или»?.. Дом молчал. Внизу помешалась столярная мастерская. Человек, которого искала полиция, прятался в тесной комнате самого верхнего этажа. Несмотря на поздний час, он

бодрствовал. Он писал. При бледном пламени свечи можно было различить узкое лицо, глаза, воспаленные бессонницей, болезнью и душевным горением, темносиний фрак, костлявую руку, лист бумаги, густо исписанный вдоль и поперек, - видимо, приходилось беречь бумагу. По винтовой лестнице осторожно ползли полицейские. Лабра хотел чихнуть, но вовремя удержался. Человек наверху все еще писал: «Революция не может окончиться. К чему привела она? К замене одних тиранов другими. Если она на этом действительно закончилась, она была величайшим преступлением...»

Когда Лабра схватил лист, последние слова еще не успели высохнуть, и он замарал чернилами рукав. С грустью вздохнул он - пятно!.. А жалованье - ассигнациями... Кажется, даже в тюрьме спокойней!..

Жандармы отвезли арестованного в тюрьму Форс. Лабра же поплелся с докладом к начальнику. Тот успел получить еще одно послание от гражданина Тальена. Начальник озабочен. Он спрашивает Лабра:

- Сколько денег нашли на арестованном?  
- Шесть франков, гражданин.  
- Гм... Но он предлагал вам взятку, чтобы вы его отпустили. Он хотел подкупить вас. Он давал тридцать тысяч франков.

Бедный Лабра ничего не понимает: это еще трудней, нежели победы в Голландии. Наивно он возражает:

- Нет, гражданин, он мне ничего не предлагал. Он только выругал меня за то, что я измазал его писания. И откуда у него могут быть тридцать тысяч? Ведь это голштатник...

Начальник сердится:

- О чем толковать, Лабра... Вы заявляете, что он хотел вас подкупить. Вы, разумеется, отказались принять взятку, и я награждаю вас за вашу честность. Вы поняли наконец меня?

Лабра сияет: как же, теперь он все понял. Это, наверно, Конвент приказал, а раз уж Конвент хочет, то нечего здесь рассуждать. Что касается наградных, это, конечно, приятно. Вот только если бы серебром!.. Да куда тут - опять ассигнации. Надо бы купить жене шляпу...

Лабра быстро составляет рапорт о попытке подкупа. Начальник тоже пишет, он пишет донесение Тальену: «Преступник пытался соблазнить агента полиции, но»... Ему хочется блеснуть красноречием. От усердия он высовывает наружу кончик языка. «Но агент проявил гражданское мужество, достойное героев Фермопил...»

За стеной - детский плач. Что это? Ах да, маленький газетчик! Луи Лабра, герой Фермопил, видит, что без начальника и здесь не обойтись:

- Этот юный гражданин задержан мной возле театра Республики. Он кричал: «Революция кончилась!» Мне кажется, что эти слова противозаконны. Ведь так рассуждают шуаны или аристократы. Но, конечно, если Конвент...

Начальник машет рукой - замолчи, мол... На самом деле он озадачен ничуть не менее глупого Лабра. Он пробует засунуть в ноздрю добрую понюшку, но в голове не проясняется. «Революция окончилась?» А как же революционный трибунал? А революционный календарь? А революционные праздники? Да, но вот революционеров сажают в тюрьму. Их ссылают в Кайену. Им отрезают головы. Кто их сажает? Тоже революционеры, тоже монтаньяры. Может быть, они действительно хотят закончить революцию? Разве их поймешь?.. Гражданин Тальен не очень-то любит, когда при нем вспоминают прошлое: Бордо, гильотину под окнами, красный колпачок. Может быть, революция действительно кончилась? Впрочем, это не его дело. Полиция должна исполнять приказы, а не заниматься философическими вопросами. Полиция не академия!

Начальник допрашивает мальчика:

- Сколько тебе лет?

- Кажется, десять. Или девять. В успение будет десять. Или одиннадцать.

- Теперь нет никакого «успения». Теперь, дурачок, другие праздники. Например, девятое термидора - падение тирана Робеспьера. Или двадцать третью термидора - падение тирана Капета. Ты кто же - роялист, якобинец или, может быть, орлеанист? Ну, отвечай!

Мальчик перестает плакать. Он смотрит восхищенно на кокарду начальника, на его выпяченные важно губы, на перья писцов. Он вежливо, но твердо говорит:

- Нет, гражданин, я только сын вдовы Пежо на улице Урс, в доме номер четыре.

Улыбается начальник, улыбается почтительно Лабра, улыбаются даже кокарды и перья.

- Ну, сын вдовы Пежо, можешь идти домой. Только смотри, больше не балуй! Кричи «Республиканский курьер» или «Народный оратор», или «Вестник», но от себя ни-ни. Если ты завтра вздумаешь кричать «революция началась», тебя снова притащат. Революция - это, брат, не газеты продавать. Над этим Конвент думает, а не сын вдовы Пежо. Понял, сопляк?..

Карета подъехала к тюрьме Форс. Сторож кряхтел и, ругаясь, подбирал ключи. Ругался и арестованный. В камере было темно. Кто-то зажег огарок. Сено, сонные лица, чад. Арестованный не стал оглядывать мокрых стен или гнилой подстилки - он хорошо знал, что такое тюрьмы республики; ведь это шестой арест! Он только крикнул:

- Кто здесь?

Со всех сторон раздалось:

- Патриоты.

- Жертвы роялистов и шуанов.

- Защитники революции.

- А ты кто?

Новичок молчал. Тогда один из заключенных поднес огарок поближе к худому, чрезмерно бледному лицу.

- Гракх Бабеф! Трибун народа!

Тотчас камера наполнилась восторженными криками:

- Да здравствует Гракх Бабеф! Позор изменникам! Свобода или смерть!

Всю ночь арестанты пели патриотические песни: гимн мар-сельских ополченцев или «Карманьолу».

Те же песни распевали для бодрости под холодным, мокрым ветром каменщики на площади Карусель. Они работали, не покладая рук: по приказу Конвента сносили мавзолей, воздвигнутый в честь «друга народа» Жана-Поля Марата. Под кирками летели камни, а каменщики пели: «К оружию, граждане! Стройтесь в батальоны»...

## 2

1787-й год. Еще никто не думает о близкой буре, ни Мария-Антуанетта, которая порой хмурит прелестный лоб над некоторыми финансовыми затруднениями, среди буколики Малого Трианона, среди коз, поклонников, париков, министров, ни Максимилиан де Робеспьер, который в аррасском суде неудачно обслуживает захолустных сутяг. В это время он еще роялист, роялисты еще мечтают о «Природной Республике» нежного Жан-Жака Руссо, народ молчит, поэты пишут элегии, и доктор Жозеф Гильотин, не помышляя о своем бессмертном изобретении,

Илья Эренбург  
ЗАГОВОР РАВНЫХ

Михаила и Век Просвещения, 2009

ставит банки чересчур полнокровным клиентам<sup>7</sup>.

Потом об этих временах будут говорить как о потерянном рае: «Кто не жил до революции, тот не знал сладости жизни». Гракх Бабеф этого не скажет. Он только что пришел домой. Жена ждет: «Достал?» - «Нет, не достал...»

В доме ни су. Кредиторы грозят описью. Дети плачут, и жена Бабефа, терпеливая, как земля Пикардии, молчит, крепится. Это верная подруга, простая женщина, бывшая служанка графини де Домери<sup>8</sup>. Она варит чечевичный суп. Бабеф еще не Трибун народа - он только мелкий землемер. Он даже не Гракх, его еще зовут Франсуа. Правда, он читает энциклопедистов, но когда он приходит к богатым помещикам, они его непускают дальше лакайской. Бабеф самолюбив. К тому же он еще не Гракх - он только Франсуа. И Бабеф краснеет от обиды.

Чем он занят? Архивы, справки, утерянные права, дарственные записи, спорные полосы, родословные... Феодалы Пикардии алчны и скучны. Франсуа Бабеф, агроном, дипломированный «комиссар поместий», чья контора находится в городишке Руа, должен зорко охранять их права; чеченица не дается даром.

Взгляните на квартал Сен-Жиль, где помещается эта далеко не пышная контора. Какая нищета кругом! Деревянные домишкы - они все покосились. Соломенные крыши с прорехами. Внутри темно - нет окон, вместо окон дверь. Земляной пол; грязь, зловоние. Нечистоты здесь же, в яме. Со стен течет. На всю семью одна комната и одна кровать. Свечи - роскошь, мясо - пиршество, сладкие оладьи - двунадесятый праздник. Плачут здесь только невесты на свадьбах, а прихорашиваются раз в жизни - умирая, когда кюре звенит дарохранительницей.

Пикардия или Артуа не знают ни солнца Прованса, ни южной лени. Здесь сугубо тяжела рука владельца необъятных поместий. Нищета батрака или ремесленника здесь лишена южной живописности. Скоро подымется буря. Юг пошлет в Париж благородных мечтателей, сибаритов, мучеников и болтунов<sup>9</sup>. Сыны сумрачного севера станут ревнителями равенства, сторонниками гильотины. Это будут жестокие человеколюбцы, пуритане крови: Максимилиан Робеспьер, Леба, Жозеф Лебон<sup>10</sup>. Это будет Гракх Бабеф, ныне ничтожный землемер. Не раз потом «трибун народа», чахлый и стойкий, среди приступов болезней живя верой и пиллюлями, вспомнит эти лачуги, смрад, молчаливое горе квартала Сен-Жиль.

<sup>7</sup> Жозеф Игнас Гильотен, врач. Был избран депутатом в Генеральные штаты. **Он не изобретал гильотину**, так как этот механизм был известен и применялся давно. На самом деле вместе со своим коллегой, тоже врачом, по фамилии Луи, он был выбран в комиссию, занимавшуюся составлением нового Уголовного кодекса, и предложил «гильотину» (которую, кстати, с таким же правом современники называли «луизеттой») как приспособление для казни, общее для преступников всех сословий и относительно более гуманное, взамен дифференцированных видов казней, как-то: отрубание головы мечом, повешение, колесование, четвертование, дыба, сожжение на костре и проч., практиковавшихся при Старом режиме. Техническим усовершенствованием механизма «гильотины» занимался не Гильотен, а механики и палач.

<sup>8</sup> О жене Бабефа известно, что полное ее имя – **Мари-Анн-Виктуар**, девичья фамилия - **Ланье**, крещена в Амьене 13.02.1757, умерла после 1840 г. Франсуа-Ноэль Бабеф и Мари-Анн сочетались браком в Руа 13.11.1782. Пятеро детей родились у этой четы: Катрин-Аделаида-София (сент. 1783 – 13 ноября 1787), Робер, называемый Эмиль (29 сент. 1785 – ок.1842), Катрин-Аделаида-София (3 сент.1788 – 6 июля 1795), Жан-Батист Клод, называемый Камиль (26 ноября 1790 – 24 авг. 1815), Кай Гракх (28 янв. 1797 – 1814).

<sup>9</sup> Имеются в виду жирондисты, своего рода «парламентская фракция» (см. собрание материалов о них здесь: [http://vive-liberta.narod.ru/discuss/girond\\_ind.htm](http://vive-liberta.narod.ru/discuss/girond_ind.htm)). «Благородные мученики» в действительности были неплохими политиками и дельцами, принимали жесткие законы, некоторые из них голосовали и за смерть Людовика XVI, а после изгнания их из Конвента 2 июня 1793 г. жирондисты фактически развязали гражданскую войну, едва не стоившую Французской Республике потери государственной целостности и приведшие к многочисленным жертвам.

<sup>10</sup> О Максимилиане Робеспьере (6.05.1758, Арас, – 28.07.1794, Париж): <http://vive-liberta.narod.ru/ref/ref1.htm#MR>. Филипп Леба (4.11.1760, Фреван, деп.Нор, – 28.07.1794, Париж), депутат Национального конвента, сторонник Робеспьера. См. о нем: <http://vive-liberta.narod.ru/ref/ref1.htm#flb>. Гислен Франсуа Жозеф Лебон (29.09.1765, Арас, - 10.10.1795, Париж), депутат Национального конвента, проконсул в Арасе. Известен как сторонник и проводник террористических мер в 1793-94 гг.

Вспомнит он и свое нерадостное детство: отца, бывшего майора в опале, который, после воинских доблестей, боев, наград, после милостей австрийского императора и собачьей жизни затравленного дезертира, должен был на старости, рада нескольких су, рыть рвы Сен-Кентена, как простой землекоп. В праздник отец надевал пышный мундир, который берег пуще глаза, шляпу, расшитую золотыми галунами, подвешивал огромную саблю. Он сидел и улыбался. Он был землекопом, но считал себя знатным и богатым. Он был горд, как может быть горд только кастильский нищий. Это он учил маленького Франсуа: где уж здесь думать о школе! Он учил его латыни, математике, немецкому языку. Он учил его в долгие вечера, когда не было ни чечевицы, ни свечи, но только линялые галуны и звезды, что человек должен мечтать и упорствовать. Многому научил будущего «трибуна народа» этот старый чудак.

Вспомнит Бабеф и свою мать: день и ночь она прядла, ткала. У нее болели глаза от пряжи, и сердце - от жизни. Она показывала маленькому Франсуа старую квашню: «Вот это твоя колыбель»... Франсуа был хорошей нянькой: он смотрел за младшими братьями.

Потом он стал писцом у землемера. Хозяин кричал на мальчика, но хозяйке правились его пепельные кудри, и она вплетала в них ленты. Перо маленького писца терпеливо скрипело. Потом Франсуа стал взрослым. Теперь у него самого дети. Их надо кормить. «Достал?..» - «Нет, не достал...» Грустная жизнь в глухом городке, обыкновенная жизнь! Только фантазия и гордость отличают его от других землемеров: покойный майор по ним узнал бы своего сына.

Не одной архивной пылью занят молодой Бабеф. Все свободное от работы время проводит он за чтением. Кто знает, что разжигает его бессонницу: благородные мечтания или только самолюбие одаренного бедняка? Он читает Мальби<sup>11</sup> и Дидро, но его любимый автор, конечно же, Жан-Жак Руссо. Он даже назвал своего сына Эмилем. Забываясь над нотариальными ведомостями, он повторяет длинные цитаты из «Общественного договора». Притом он не только читает, он много думает, он кое-что уже надумал. Скоро своими мечтаниями он испугает всех высших магистров Французской республики. Пока что о них знает только секретарь Аррасской академии господин Дюбуа де Фоссе.

Дюбуа де Фоссе живет не в Гуа, а в Аррасе. Но и в Аррасе жизнь скучна, все кругом говорят только о тяжбах, о маринадах, о подстреленных фазанах, о наглости мелких воришек. А Дюбуа де Фоссе любит философию, изящную словесность, филантропические мечты, стихи Парни и Дюси. Как и землемер из Руа, он любит великого женевца. Здесь ему не с кем поговорить. Аррасская академия ставит на всеобщее обсуждение различные проблемы. Например: «Надлежит ли уменьшить число дорог в окрестностях Арраса, дабы расширить оставшиеся и обсадить их деревьями?» В Руа молодой фантазер рад любому слушаю, чтобы высказаться, да и выдвинуться. Бабеф пишет секретарю академии. Дюбуа де Фоссе отвечает пространно, даже восторженно. Так начинается переписка: об экономике и о поэзии, о новом социальном устройении и об античных образах, чересчур грубых для чувствительных дам.

«Какие еще вопросы достойны публичного внимания?» - спрашивает Дюбуа де Фоссе. Бабеф не колеблется. Он тотчас отвечает: «Выяснить, каково будет устройство общества, в котором воцарится совершенная справедливость, в котором земля не будет никому принадлежать, сделавшись народным достоянием, да и все будет общим, вплоть до продуктов различных ремесел...»

Дюбуа де Фоссе хорошо знает философов своего века. Потом в Аррасе так скучно!.. Он не смущен любознательностью загадочного корреспондента. Нет, он сам охотно описывает фантастическую республику: все мужчины и женщины

<sup>11</sup> Опечатка или ошибка. Следует, конечно, читать: Мабли.

работают для государства, а государство их кормит (завтраки и обеды), вещи тоже никому не принадлежат, тюрьмы, конечно, уничтожены, полная свобода совести, - словом, рай на земле.

Бедный господин Дюбуа де Фоссе, как беспечно, со многими другими, раздувает он костер, на котором суждено сгореть и сочинениям Руссо в шагреневых переплетах, и академии Appаса, и всей легкомысленной жизни ленивых мечтателей или остроумных простаков! Пройдет лет шесть-семь, в Appас приедет Жозеф Лебон. Он тоже будет говорить о новом обществе, скрепляя каждую фразу смертными приговорами. Что скажет тогда гражданин Дюбуа де Фоссе?.. Впрочем, ученый секретарь академии не ясновидец.

Поболтав о новой республике, он быстро переходит к более реальным темам. Теперь он мечтает о едином законодательстве для всех провинций Франции: вот идеал! Но Бабеф возражает:

«Разве уничтожат законы преступное неравенство? Останутся голодные и больные дети рядом с пресыщенным всем миллионером». Дюбуа де Фоссе пробует уклониться от спора. Он пишет об исторических трудах г.Девийена и о стихах г.Опу. Он увлекается магнетизмом и аэростатами. Он задает Бабефу глубоко философические вопросы: «Почему негры черные?» Он пишет об этом так же, как писал о республике равных: все вопросы хороши, если на них можно остроумно ответить. Корреспондент из Руа, однако, продолжает настаивать: а равенство? Тогда Дюбуа де Фоссе хмурится: но ведь это только грэзы просвещенных умов! Это прежде всего неосуществимо...

Сейчас Бабеф ему ответит. Он грустен и молчалив. Он не достал сегодня денег. Что скажет булочник?.. Жена рассказывает:

- Ты знаешь, что случилось со вдовой Эрбо? Мне рассказала Луиза... Она сжала два стога овса на господском поле. Ее за это приговорили к порке. А потом вышлют из Франции. Что же будет с детьми...

Бабеф становится еще грустной. Он ничего не говорит жене. Он обдумывает ответ господину Дюбуа де Фоссе. Он забывает, что это праздная переписка, что секретарь академии благожелательно прочтет послание из Руа, усмехнется дерзкой мысли и спрячет листок в секретер: скучно в Appас!.. Сейчас Бабефу кажется, что его письмо способно переделать мир. Ему двадцать семь лет, но он наивен, как его маленький Эмиль. Он повторяет вслух:

- Надо, чтобы с королей слетали короны!..

Жена испуганно всплескивает руками:

- Что ты говоришь, Франсуа?..

Она хорошо помнит виселицу на главной площади. Это был несчастный кожевник. Он как-то сказал в кабаке, выпив лишнюю рюмку: «Можно сдохнуть от этих налогов! С кого дерут? С богачей? С нас. За соль - плати. За вино - плати. Вот подождите, мы с вами расквитаемся!..» Он висел маленький, черный, худой, как птица. «Корона»... «Король». Разве можно говорить такие слова?..

Бабеф усмехается. Он встает. Глаза его горят жестким огнем. Он говорит сбивчиво, запинаясь, но с таким жаром, как будто перед ним не перепуганная жена, а народ всех провинций королевства.

- Пусть!.. Значит, так надо... Когда отец умирал, он позвал меня. Он сказал: «Всю жизнь я читал Плутарха. Эту книгу я тебе завещаю. Я читал ее в горе и в радости. Выбери среди мужей древности достойного подражания. Много великих. Но не забывай о народе... Сердце подскажет тебе путь. Все достойны. Я хочу, однако, чтобы ты пошел по стопам одного. Это Кай Гракх. Он погиб, но не изменил. Нет выше удела, чем такая смерть, смерть за всеобщее благодеяние. Поклянись мне на этой шпаге, что ты не отступишь, не предашь народа...» Я поклялся...

Голос Бабефа глух, в нем горе и страсть. Скорей всего, померещились ему и напутствия майора, и Плутарх среди агонии, и клятва на шпаге. Таков человек: то, что он сказал, тотчас становится реальностью. Если он и не дал клятвы отцу, он дает ее сейчас, дает себе, и он не изменит.

Он вытирает лоб. Немного успокоившись, он снова садится за стол. Перо торопливо скачет. Он пишет господину Дюбуа де Фоссе: «Для того чтобы этого достигнуть, нужны великие потрясения и великая революция...»

### 3

- Бастилия пала!..

Шум дошел до комнаты Бабефа. Он заставил его выбежать на улицу. Не только его - в этот вечер весь Руа был на улицах. Старики подозрительно оглядывались: где же господин комендант королевских драгун?.. Молодые люди громко смеялись. Они даже кричали «да здравствует нация!», как будто

Руа - это Париж, пугая криками кур и старух. Куры презабавно взлетали, а старушки плакали.

Бедняки квартала Сен-Жиль любили Бабефа. Правда, они не читали его писем Дюбуа де Фоссе, но они хорошо знали:

«Бабеф наш, Бабеф не выдаст!» Когда он вышел из дома, его тотчас окружили соседи. Они улыбались блаженно. Один (это был Леден, рыжий сыровар) обнял Бабефа:

- Бастилия пала!

Тогда слезы показались на глазах Бабефа: то, о чем писал он скептическому секретарю Аррасской академии, начинает сбываться.

В этот день на многих глазах были слезы умиления. Слова «Бастилия пала» стали сразу торжественными и громкими, как эпическая поэма. Ничтожная стычка с полуживыми от страха инвалидами, осада, при которой заодно с Бастилией пали винные погреба, добыча в виде пустого каземата, белый флаг, немедленно выкинутый далеко не отчаянными защитниками тюрьмы, голова маркиза де Лонэ на пике - все это могло бы остаться случайной перестрелкой, мелким эпизодом, но стало великой датой, взятием неприступной крепости, героическим штурмом, бескорыстным восторгом всей Франции. Ведь ни любовники, ни народы не могут жить без мифов.

У Бабефа теперь одна мысль: в Париж! С трудом одолживает он несколько монет на дорогу.<sup>12</sup> Его провожают завистливые и сострадательные взоры обитателей Руа: «Куда он едет? В Париж? Но ведь в Париже революция! Лучше бы переждать месяц-другой». Да, в Руа все уверены, что к осени революция кончится: Бастилия уже взята, Неккер вышел в отставку, добрый король уменьшил налоги, и тогда все образуется.

Бабеф умеет думать, и когда он садится в дилижанс, его охватывает волнение: позади жизнь, бедная, грустная, но мирная, жена, дети, книги, проекты «Истории Пикардии», письменный стол. А что впереди?.. Париж, революция, история...

Бабеф приехал в знаменитый июльский вечер. На улицах толпились встревоженные люди. Все читали листки, кричали, спорили с друзьями, с прохожими, даже со стенами. Все хотели наговориться всласть после долгих лет молчания. Бабеф остановился в гостинице возле площади Грев. На дверях было написано: «Дают ночлег конным и пешим». Он хотел уснуть, но не мог. Внизу пили вино и пели, пели новые страшные песни на мотив церковных литаний: «Месть преступникам! Месть притеснителям!.. Было черно и душно. Потом разразилась

<sup>12</sup> См. письмо Бабефа к жене из Парижа, 25 июля 1789 г.: [http://vive-liberta.narod.ru/resp\\_calend/14\\_jl.htm#Bf](http://vive-liberta.narod.ru/resp_calend/14_jl.htm#Bf).

гроза. Но даже она не смогла разогнать народа. Удары грома перемежались с грохотом и с заунывным ревом: «Месть!..»

Ночью Бабеф слышал революцию. На следующий день он ее увидел. Он увидел не кресла Учредительного собрания, не Лафайета или Мирабо, не мечтателей, не вождей, не батальоны повстанцев. Он увидел ржавый железный фонарь на углу площади Грев и улицы Баннери, обыкновенный фонарь возле мелочной лавки, гордо именовавшейся «Королевским уголком». В лавочке торговали свечами, кофе, сахаром и мылом, а возле лавочки не редела толпа. Здесь народ судил, и здесь он пел - под ржавым фонарем.

Бабеф стоит, прижавшись к стене. На лице его недоумение. Ведь он еще новичок... Он видит, как толпа тащит к фонарю дряхлого старика. Тот упирается, молит. На вид ему лет семьдесят, если не восемьдесят.

- Кто это?

Мальчишка с пренебрежением оглядывает Бабефа:

- Вы не знаете, кто это? Это Фулон. Подлец! Он говорил, что заставит нас жрать траву, как баранов...<sup>13</sup>

Фулона притащили к фонарю. Какие-то люди пробуют говорить:

- Обождите! Пусть его судят...

Но толпа рычит:

- Вы что же - в стачке с негодяями?..

Вид фонаря охлаждает челюеклюбие. Лафайет уходит. А толпа кричит Фулону:

- Становись на колени! Проси прощения!

Старик падает на землю. Он визжит:

- Простите меня! Посадите в тюрьму! Я ведь сам скоро умру...

Но ржавый фонарь ждет. На шее Фулона - веревка. Несколько судорожных прыжков, и все кончено. Толпа, однако, не хочет успокоиться. Кто-то принес топор. Голову Фулона отрубают. В рот засовывают клок сена. Тогда Бабеф говорит вслух:

- Страшно!..

Кругом гогочут. «Страшно? Нет, весело!!!» Здесь никто не поймет Бабефа. Все смеются и поют: «На фонарь аристократов!»... Одежду Фулона разрывают, дерутся из-за клочков: говорят, приносит счастье. Голову сажают на пику. Сено в крови.

- Пусть жрет траву!..

Этот день Бабеф проводит, как во сне: он хочет убежать от клока сена и не может. Он идет с другими, идет молча, ни о чем не думая, тяжело дыша. Теперь две головы: из Компьена притащили зятя Фулона. Тело его изрубили: кровь, пыль, барабанный бой, песни. Весь Париж высыпал на улицы: «Вот умора!.. Глядите, и зять и тестя на пиках».

- Что, вкусно, старина?

- Мычи, баран! Ммме...

Газетчики выкрикивают: «Замечательное произведение Демулена. Речь фонаря к парижанам!» Берут нарасхват. Здорово написано!.. Ржавый фонарь, конечно, не умеет разговаривать. За него говорит молодой журналист Камилл

<sup>13</sup> Жозеф Франсуа Фуллон (25.06.1715, Сомюр, - 22.07.1789, Париж). Хотя его изящная, истинно царедворская фраза, обращенная к населению Парижа «Если у них нет хлеба, пусть жрут сено», достаточно характеризует циничное отношение к проблемам народа и государства, линчеван он был не за это. 11 июля 1789 г., когда Людовик XVI дал отставку Неккеру, пост генерального контролера финансов он передал Фуллону. Это был реакционный переворот, чреватый прежде всего объявлением государственного банкротства. Циркулирующие между Версалем и Парижем слухи довели общее напряжение до высшей точки, Фуллон в коллективном представлении стал виновником и источником катастрофической угрозы. Примечательно, что ни командующий парижской Национальной гвардией Лафайет, ни выборный мэр Байи не препятствовали народному самосуду над Фуллоном и его зятем Бертье.

Демулен, и парижане хорошо понимают язык фонаря. Бабеф тоже читает не отрываясь: бойкое перо!.. С воодушевлением он восклицает:

- Вот что значит свобода нации - теперь каждый может говорить все, что ему вздумается!..

Перед ним, однако, пика, а на пике голова бывшего контролера финансов Фулона. Из рта торчит сено. Бабеф вспоминает, как старик кричал: «Я ведь сам скоро умру...» А толпа веселится, не умолкают барабаны. Где он? Это улица Сан-Мартен. Уже смеркается. Сколько часов бродит он по городу?.. Страшно! И все же хорошо! Но зачем эти головы?.. Кругом танцуют, пьют вино, поют. Парижане не хотят философствовать. Как он одинок среди сотен тысяч людей! Как он одинок глаз на глаз со столь долгожданной революцией!

Измученный сомнениями, ходьбой, шумом, всеми делами этого первого парижского дня, Бабеф возвращается в гостиницу. Там он берет перо. Он напишет жене. Конечно, она не получила образования. Она не знает истории Рима. Она даже не читала Руссо. Эта бывшая служанка едва-едва может написать мужу несколько простых задушевных слов. Но жена поймет его: ведь она дочь народа. А у народа злые слова и грубый голос, но у него большое сердце. Он рассказывает жене о всем виденном: «Двести тысяч человек глядели, ругали мертвцев и радовались... О, какую боль причиняла мне эта радость! Я был и удовлетворен и подавлен. Это - жестокость...»

Здесь он кладет перо. Он ходит по комнате из угла в угол. Перед ним вдова Эрбо, засеченная плетьми: она жала овес на господском поле, кожевник Морис - виселица: он кого-то обругал в кабаке, шапочник Мутье, которому отрубили руку, - он посмел охотиться в лесу маркиза; перед ним виселица, палач, кнут, топор, кровь, столько крови!..

Как бы не захлебнулась в ней вся страна: кровь ведь никогда не высыхает, она только прячется под землю, а потом вырывается наружу, она сводит людей с ума.

Бабеф пишет: «Пытки, четвертование, колесо, дыбы, костры, плети, виселица, сонмы палачей развратили пас. Правители, вместо того чтобы просвещать, сделали нас дикарями, ибо они сами дики. Они пожинают и пожнут то, что посеяли. Ведь за этим, бедная моя жена, последует дальнейшее, еще более страшное! Мы теперь только в начало...»

Уснул Париж - все устали после плясок и песен. Под ржавым фонарем целуются влюбленные. Днем они пили со всеми и со всеми пели: «Месть!» Теперь он говорит ей:

- Мы поженимся после дня всех святых, когда это кончится...

Сколько же может длиться революция? Месяц, два, три... Так думает народ, так думает, засыпая, король, который, услышав об убийстве Фулона, приуныл, так думает даже «фонарный прокурор» Камилл Демулен<sup>14</sup>. Самые недоверчивые или самые горячие шепчут: говорят, что еще прикончат тридцать душ, тогда-то все кончится...

А Бабеф до утра бегает из угла в угол, и в голове его одно: это только начало!..

Влюбленные давно пошли спать. Пусто теперь под ржавым фонарем.

#### 4

Та ночь, когда Бабеф писал о своей встрече с революцией, была последней человеческой ночью перед годами суматохи, пафоса, ненависти, героизма и позы, последней ночью мечтателя, землемера, мужа, отца, Франсуа Бабефа. Все завертелось, вплоть до имен. Для начала он стал «Камиллом»: добродетели Рима были в моде. «Камилл» - что может быть лучше для первых надежд и

<sup>14</sup> Камил Люси Симплисий Демулен (2.03.1760 – 5.04.1794), журналист, депутат Национального конвента: <http://vive-liberta.narod.ru/ref/ref1.htm#cdem>.

гражданского согласия? Много трудней было выбрать профессию. Уничтожив феодальные привилегии, революция, конечно, осчастливила патриота Бабефа, но дипломированный «комиссар поместий» оказался не у дел. Впрочем, Бабеф не унывал. Он все переисprobовал. Кто же в такие времена занимается своим делом? Разве что землепашцы и палачи. Мясник Лежандр стал Солоном, епископ Гобель вождем безбожников, а принц Орлеанский яростным республиканцем.

Совместно с неким Одифором Бабеф берет патент на новое изобретение - «тригонометрический графометр». Не удалось? Что же, он становится памфлетистом. Граф Мирабо злит Бабефа: он слишком красноречив. Как все наивные люди, Бабеф неожиданно подозрителен. Он выпускает брошюру против героя дня. Это гражданский долг, и это профессия - должен же человек чем-нибудь зарабатывать хлеб! Но, увы, памфлет не продается. Слишком уж много памфлетов, парижане ими объелись. Типографу пришлось, конечно, уплатить. Мирабо уцелел, а долги Бабефа возросли. Впрочем, что касается Мирабо, ненависть Бабефа быстро погасла. Проходит месяц-другой - и памфлетист просит аудиенции у графа: провинциальному нужна поддержка.

Бабеф пишет книгу «Вечный кадастровый план». В ней немало дерзких планов. Книга, однако, лежит - нет охотников ее купить. А в Руа семья. Вот Бабеф с трудом перехватил золотой. Он тотчас же шлет жене шесть франков. Среди памфлетов, планов, графометров, газет он не перестает думать о своих детях. Он пишет сыну: «Здравствуй, мой маленький товарищ! Я тебе купил палку. Очень красивую. Ты будешь мне ее иногда давать? Если бы ты знал, какая она красивая! Вот погляди». И гражданин «Камилл» пробует нарисовать палочку, выходит, увы, кочерга. Он подписывается: «твой бродяга-отец Бабеф». Он вспоминает в письме жене все те нежные прозвища, которыми они обменивались с сыном: «бродяжка», «товарищ», «босячок», «чертяга», «приятель».

Но даже самые нежные слова - не хлеб. Наконец-то находит он занятие: он составляет письма для г. де Тура. Он шлет жене деньги. Он покупает ей подарок за сорок восемь су - «патриотическую табакерку». Но г. де Тур вскоре расстается с Бабефом. Хотя ученые хвалят «Кадастровый план», книга все же не продается. Это первый год революции - время быстрых восхождений еще не настало. После трех месяцев парижской лихорадки скрепя сердце Бабеф возвращается в Руа.

Конечно, Руа не Париж, и пылкому гражданину Камиллу здесь куда легче выдвинуться. Он начинает с налогов на соль и на напитки. «Эти налоги бьют по бедноте: они противны идеи «гражданского равенства». Бабеф выпускает листовку, повсюду он обличает муниципальные власти - на улицах, в кабачках, в лачугах Сен-Жиля. Население волнуется: налоги ему ненавистней Бастилии. Революция готова стать личным делом каждого. На заседаниях муниципалитета речь теперь идет об одном: как бы убрать Бабефа?.. Особенно старается мэр города господин Лонгекан. Он шепчет в церкви влиятельным прихожанам: «Этот Бабеф опасен. Он может всех перекусать, как бешеная собака...» Мэр, что ни день, пишет в Париж. Папка с доносами растет. Так Бабеф впервые знакомится с тюремными нарами. Его везут в Париж. Он в тюрьме Консьержери. Кто вступится за Бабефа? Бедняки из квартала Сен-Жиль? Но они ведь не умеют даже писать. Господин Лонгекан облегченно вздыхает: «Пусть похлебает баланду!.. Из острога не так-то легко выбраться».

Господин Лонгекан забывает об одном: в Париже как-никак революция. В Париже живет господин Марат. Каждый номер «Друга народа» - приговор, хоть Марат и прячется от полиции. Бабеф просидел два месяца. В «Друге народа» Марат потребовал освобождения пикардского патриота, и Бабефа тотчас же выпустили. Возвратясь в Руа, он больше не колебался, какую профессию

выбрать. Вот что значит газета!.. Надо здесь, в Пикардии, охранять революцию, как охраняет ее в Париже гражданин Марат!<sup>15</sup>

В соседнем городке, в Нуайоне, жил типограф Девен. Он глубоко уважал Бабефа. Он согласился издавать еженедельную газету «Пикардский корреспондент». Там печатались постановления Национального собрания, объявления, а также философские статьи Бабефа, в которых тот беседовал с тенью Ликурга. Крохотный листок, полный провинциальной риторики и перепечаток. Но Лонгекан, читая его, багровел от злобы: какая наглость! Грамотеи читали газету вслух во всех кабачках Сен-Жиля. Их жадно слушали. Ведь это была первая свободная газета Пикардии. Бабеф продолжал обличать налоговую систему, он высмеивал чванство местной знати, самодурство администраторов. Среди абстрактных размышлений он не забывал о нищете обездоленных. При газете открылось «Бюро консультаций»: обиженные шли к Бабефу за советом.

Теперь Лонгекан обвинял Бабефа в призывах к грабежу: ведь Бабеф за «агарный закон», за раздел земель. Лонгекан снова добился приказа об аресте. На этот раз Бабеф ознакомился с другой тюрьмой Парижа - Шатле.

Он просидел больше месяца. Он вернулся в Руа, и он, разумеется, не остынился. Квартал Сен-Жиль выбрал его в коммунальный совет, но Лонгекану удалось отменить выборы: оказывается, освобождение Бабефа было условным, и он не может занимать выборных должностей.

Бабеф продолжал бороться. Городок роптал. Пришлось вызвать две сотни драгун. Народ кричал: «Долой привилегии! Да здравствует нация!» Народ шел за Бабефом.

Лонгекан снова арестовывает Бабефа. Но времена не те - трудно приходится мэру. В чем обвинить бы Бабефа?.. Он ничего не может придумать. Бабефа освобождают. Он уже освоился с революцией: привык к неожиданным арестам и к столь же неожиданной свободе. В тюрьме он как дома.

Руа - захолустье, и когда Бабефа привозят в Шатле, парижане презрительно поглядывают на наивного провинциала: «Налоги на соль - подумаешь!.. две сотни кавалеристов». Но у Бабефа хорошее зрение: когда Франция еще восхищается народолюбием короля, он стоит за республику. Когда всем кажется, что суть революции в свободе совести или слова, он восклицает: «Мало свергнуть королей - это еще не равенство. Надо обеспечить всем равное образование и право на труд». Бабеф открыто выступает за раздел земель. Избирательная урна кажется священным алтарем, а Бабеф подсмеивается: революцию делают не подсчетом голосов, но разумом, гражданским мужеством и бескорыстием.

Бабеф хорошо видит будущее, а в том, что окрест, он не умеет разобраться. Он отнюдь не политик. Он иногда философ, иногда пророк; подобно всем людям, которые обживают историю, как дом, он страдает дальновидностью. Лонгекан или муниципалитет Руа в его глазах становятся врагами Франции. Все силы он кладет на борьбу с унылыми провинциалами, которые преданы ломберному сукну или аниевой настойке.

Выбранный наконец-то на пост администратора департамента Соммы, он работает не покладая рук. Враги смелеют, и что ни шаг Бабеф наталкивается на противодействие. Революция переживает смутные часы, она уже расточила все братские поцелуи и еще не решается перейти к гильотине. На Бабефа наседают. Его подозрительность растет. Его наивность не исчезает. Он открывает заговор: контрреволюционеры хотят сдать «союзникам» Перонну. Он борется с голодом: роялисты создают искусственно голод. Повсюду враги! Повсюду заговоры!

<sup>15</sup> Жан-Поль Марат (29.05.1743 – 13.07.1793), естествоиспытатель, врач, публицист, политик: <http://vive-liberta.narod.ru/ref/ref1.htm#marat>.

Бабеф порой патетичен, порой смешон. Весь город говорит о том, как гражданин Камилл объявил войну бродячей труппа актеров. Оказывается, они играли «Французского героя» и «Постоялый двор», а это роялистические пьесы! Бабеф возмущен. Он кричит актерам: «Во имя нового быта, во имя нового воспитания, я протестую! Я обвиняю вас! Я призываю в свидетели весь зрительный зал». Амьенцы смеются: ведь это еще 92-й год. Обвиняемые могут спокойно гримироваться. Театральная критика еще не перешла в ведение революционных трибуналов.

Многие, однако, не только смеются. Враги Бабефа хорошо знают, что голова его занята не комедиями. Раздел земель, борьба с роскошью, идея равенства - вот о чем думает чересчур ревностный администратор. Врагов у Бабефа много. Они сильны. Его переводят из Амьена в Мондильт. Он и там не унимается. В Париже он был бы одним из ораторов Клуба якобинцев, может быть, судьей, журналистом или комиссаром, там он был бы на своем месте. В тихом городишке Пикардии он становится пугалом: ведь он с ног до головы переполнен революцией. Он только и думает, что о ней. Его сын хворает корью. Он пишет сыну: «Тебе лучше? Да здравствует республика! Твой пapa». Это не поза глупого комедианта, это признание одержимого. Узнав о казни Людовика, в Мондильт и в Руа люди крестятся, пугливо озираются, плачут. Не то чтобы они очень любили Капета, нет, они его вовсе не любили. Но как же можно отрезать голову королю?.. Среди пугливого шепота раздается голос Бабефа: «Браво, Париж! Смерть тирану!» Бабеф протестует против попустительства властей, которые до сих пор не конфисковали земель эмигрантов. Бабеф сжигает на костре дворянские гербы и королевские изображения.

Ряды врагов полнятся. Во главе их все тот же Лонгекан. Они только ждут, к чему бы придраться. Ведь нельзя же теперь арестовать человека за республиканские идеи. Враги следят за каждым шагом Бабефа. Он по-прежнему беден. Его нельзя обвинить ни во взяточничестве, ни в хищении. Как же избавиться от этого неугомонного патриота?..

Бабеф сам пришел на помощь своим врагам. Он был доверчив и неосторожен. Он умел разбираться в судьбах республики, но не в канцелярский тонкостях. Однажды к нему пришел судья Делиля и попросил засвидетельствовать акт продажи фермы Фонтан. На торгах он купил ферму за семьдесят шесть тысяч и тотчас уступил ее гражданину Левавассеру. Теперь дело с Левавассером не выходит, ферму берет некто Леклерк. Нужны подписи Бабефа и другого администратора, Жодуаня. Оба расписались. Не прошло и двух часов, как Лонгекан торжественно объявил, что Бабеф и Жодуань виновны в подлоге. Заподозренные немедленно изложили сущность дела. Но управление округа отрешило Бабефа от занимаемой должности. Дело было передано прокурору Мондильт.

Бабеф едет в Париж, чтобы там оправдаться. Он просит об одном: «Судите меня в Париже!» Он ведь не сомневается в приговоре пикардских судей. Но в Париже ему говорят: «Оставайтесь здесь, переждите»...

Бабеф остался в Париже. Суд в Амьене факт подкупа отверг - он оправдал и Делиля и прочих обвиняемых. Бабефа, однако, заочно приговорили к двадцати годам тюрьмы: в Амьене хорошо помнили горячего администратора. Лонгекан, бывший королевский прокурор, а теперь, разумеется, патриот и республиканец, наконец-то расквитался с Бабефом. Он не только прогнал его из Пикардии, он очернил его перед всеми: глядите, этот апостол равенства способен на самый банальный подлог - и все ради денег! Теперь он скрылся. Он кутит в Париже...

На самом деле Бабеф в Париже голодает. Затравленный, одинокий, тщетно ищет он какую-либо работу. Наконец гражданин Фурнье предлагает ему составить

несколько писем. Бабеф сообщает жене: «Они обвиняют меня в подобной низости!.. Они говорят, что я продался. Пусть они придут полюбоваться на свою работу. Мои дети плачут - у них нет хлеба... Дорогая моя подруга, старайся спасти их! Еще несколько дней!.. Завтра я получу немного денег от гражданина Фурнье и сейчас же отошлю тебе...» Но, видно, Фурнье платил мало...

Стучат в дверь. У жены Бабефа опускаются руки: кредиторы! Булочник Данже требует тридцать ливров за хлеб, Клавье, ресторатор, за обеды, которые он отпускал ее мужу, требует двадцать шесть ливров четыре су. Обстановка Бабефов описана: «Кровать, два плохих матраса, один с шерстью низкого качества, другой с конским волосом, стол, маленький секретер, квашеный, с ящиками, шесть стульев, крытых темной соломой, теплое одеяло, фиолетовая занавеска из простой ткани». Вот и все. Жена Бабефа с детьми едет в Париж: умирать, так вместе!..

Помог Бабефу поэт, насмешник и чудак Сильвен Марешаль, маленькое, черное существо, заика, больной, - словом, человек, всячески обиженный природой и тем не менее в природу влюбленный, правда в условную поэтическую природу а-ля Жан-Жак Руссо. До революции он писал легкомысленные элегии, восторгался любовью пастушек и обличал коварство тиранов, за что познакомился с тюрьмой Сен-Лазар. Он был заправским богохульником, первым изобретателем республиканского календаря, грозой всех кюре. Он выдумывал новые системы социального распорядка, предлагал всеобщее упрощение и всемирную забастовку. А любил он предпочтительно акrostихи, бабочек и большие семьи.<sup>16</sup> Когда Бабеф с ним встретился, Марешаль редактировал газету «Парижские революции». Он дал Бабефу работу. Камилл мог бы теперь спокойно пожить. Он требовал, однако, пересмотра своего дела. Как всегда, он был прям и шумен. Вскоре по требованию прокурора Мондидье его арестовали.

Марешаль достаточно влиятелен, чтобы прийти на помощь своему новому другу. Он предлагает парижской полиции затребовать данные процесса. Прокурор Мондидье, разумеется, молчит. Тогда Бабефа выпускают на поруки. Но что ему свобода? Он уже не может жить вне диспутов, вне законопроектов, вне общественной суеты. Он хочет быть восстановленным в своих правах. Его назначают продовольственным администратором Парижа. Но Лонгекан трудился не даром: клевета жива. Хоть и заочно, Бабеф осужден. Не может же министр юстиции даже революционного правительства пройти мимо судебного приговора! Министр заявляет: если гражданин Бабеф осужден, он должен находиться в тюрьме. На этот раз Бабеф не ждет приказа об аресте. Он сам направляется в тюрьму. Оттуда он пишет длинное послание. Он разоблачает клеветников. В который раз он вынужден говорить о проклятой ферме, которую Делиля продал пе Левавассеру, а Леклерку! Он по рукам связан хитрыми измышлениями.

Кругом происходят необычайные события. Республика побеждает при Жемэппе. Она разбила врагов. Конвент провозглашает Декларацию прав человека. На площади Революции строит гильотину, и мясник Лежандр смеется: «Здесь мы будем чеканить новую монету». Аристократка убивает «Друга народа». Народ плачет. Народ танцует возле эшафота. Вожди теперь спорят. Они упрекают друг друга в измене. Вот уже пала головы Шомета, Клоотса, Геберта...

<sup>16</sup> Пьер-Сильвен Марешаль (15.08.1750 - 18.01.1803), литератор, мыслитель, политик. Человек, во многом опередивший свое время: <http://vive-liberta.narod.ru/ref/ref3.htm#marech>.

Дантон?<sup>17</sup> Дантон молчит. Наступает знойное лето. Кругом люди борются, умирают, а он, Бабеф, должен думать о ферме Фонтэн!..

Наконец просвет: заслушав рапорт о суде над Бабефом, Конвент отменяет приговор. Дело переходит в суд департамента Эны, а Бабефа отправляют в тюрьму Лапа. Вопрос о жалобе какого-то осужденного патриота проходит незамеченным: «Дурак, он должен быть счастлив. Его обвиняют в подлоге? Да, если бы он был на свободе, его обвинили бы в контрреволюции». Гильотина работает без передышки. Всего несколько дней тому назад Париж ахнул, увидев в руке палача огромную голову Дантона. Какое кому дело до фермы Фонтэн и до друга сен-жильских бедняков?.. Идет крупная игра: «Неподкупный» борется с изменниками.

А Бабеф все сидит и сидит в тюрьме. Революцию он видит сквозь осторожную решетку. Он видит не ее парадные залы - *hp* декрет о бессмертии души, не улыбку красавца Сен-Жюста, не победы патриотов, не Робеспьера, который, сдувая с безукоризненного фрака пушинки и скрепляя на ходу приговоры, следует к всеобщему благоденствию, нет, Бабеф видит черный ход революции: нары, солому, слезы новичков, судороги приговоренных, телеги, объятыя, ужас, агонию.

Может быть, не раз в эти душные летние дни, когда потные члены трибуналов во всей Франции трудятся не покладая рук, день и ночь подписывая смертные приговоры, когда среди высоких замыслов и среди липкой крови изнемогают оба - и Максимилиан Робеспьер и французский народ, когда революция, как солнце в зените, невыносимо ярка, когда она готова сгореть, изойти, надломиться, когда слишком много гордости, пафоса и преступлений, может быть в эти душные ночи 94-го года не раз Бабеф вспоминает другую ночь, столь же душную, голову Фулона, дрожь при виде первой крови, жесткую зарю необычайного дня.

Пять лет тому назад или сто?.. Давно! В те времена, когда люди еще улыбались...

## 5

Бабефа освободили тридцатого мессидора: трибунал департамента Эны не нашел состава преступления. Бабеф хотел тотчас уехать в Париж. Задержала его болезнь сына. Таким образом, девятого термидора он был в Лане. Как вся Франция, узнав о падении Робеспьера, он наивно воскликнул: «Кромвель погиб! Революция продолжается!» Он слишком долго дышал тяжелым воздухом тюремных камер, чтобы не обрадоваться речам о свободе. Легко писать «истребим трусливых, недостойных, колеблющихся», много труднее видеть что ни день телеги, груженные человеческим мясом, слышать на соседних нарах визг, плач, бред приговоренных. Опыт сердца оказался сильнее политической стратегии. Бабеф был горяч, вспыльчив и добр. Он не был героем ложноклассических трагедий в духе своего времени. Он был живым человеком. Он возненавидел доносы, животный страх, гильотину. Когда в Париже монтаньяры, да, да, свои монтаньяры, не предатели из Жиронды, не роялисты, свалив Робеспьера, провозгласили: «Довольно крови!»-

# ЗАГОВОР РАВНЫХ

## Vive Liberta и Век Просвещения, 2009

<sup>17</sup> Геберт – часто встречающаяся в дореформенной орфографии транслитерация фамилии Жака-Рене Эбера (15.11.1757 – 24.03.1794), знаменитого журналиста «папаши Дюшена»: <http://vive-liberta.narod.ru/ref/ref1.htm#hbrt>. Пьер-Гаспар (Анаксагор) Шометт (24.05.1763 – 24.03.1794) – один из радикальных революционеров, публицист, прокурор коммуны Парижа: <http://vive-liberta.narod.ru/ref/ref1.htm#chm>. Жан-Батист Клоотс, принявший имя Анахарсис (24.06.1755 – 24.03.1794) – неординарный мыслитель, философ, политик: <http://vive-liberta.narod.ru/ref/ref1.htm#cloots>. Жорж-Жак Дантон (28.10.1759 – 5.04.1794), депутат Национального конвента, один из крупнейших политиков Великой французской революции: <http://vive-liberta.narod.ru/ref/ref1.htm#dnt>.

Бабеф горячо зааплодировал.<sup>18</sup>

Разве он знал, кому аплодирует!.. Громкие слова посредственных риторов потрясли его до слез. Он поверил бывшему дворецкому Тальену, убийце и грабителю, который, накрытый Робеспьером с поличным, спасая свою шкуру, бряцал в Конвенте игрушечным кинжалом. Он поверил развратному Баррасу, болтуну Фрерону, лисе Фуше. Бескорыстный друг Фуше - как же ему не верить?.. Он поверил шайке трусливых разбойников, которые боялись Робеспьера не как тирана, не как Кромвеля, но как полицейского, готового схватить их за шиворот и вытряхнуть из карманов фамильные драгоценности, снятые с живых или с мертвых аристократов. Эти грабители умели изысканно изъясняться. Им поверила Франция. Им поверили и Бабеф.

В 89-м году все думали, что революция кончится через несколько недель. Теперь, проходя мимо раненого Робеспьера, члены Конвента кричали: «Да здравствует Революция!..» Теперь все были уверены, что революция бессмертна. Несколько голов покатились?.. Что ж, после Геберта - Дантон, после Дантона - Робеспьер. Это только мелкая хозяйственная перестановка. Новые правители отнюдь не думали о конце революции.

Они искренне ее любили - одни за «Декларацию прав», другие - за реквизированные бриллианты.

Десятого термидора гравер Моклер на улице Труа Канет перерезал себе горло бритвой. Он оставил записку: «Пистолет дал осечку. Попробую снова... Жить я не хочу - вчера революция погибла...» Патриоты смеялись над глупым гравером. Они говорили: «Революция теперь только начинается»... О Робеспье рассказывали диковинные небылицы, все верили им, потому что хотели верить. Оказывается, «Неподкупный» хотел жениться на дочери Людовика XVI, тогда иностранные дворы его признали бы, как они признали российскую Екатерину... Народ, еще вчера обожавший Робеспьера, гоготал:

- Пусть теперь женится!..

- Позор узурпатору! Он хотел убить революцию!

Гравер с улицы Труа Канет не мог поспорить, он валялся в мертвяцкой.

Бабеф приезжает в Париж. Он начинает понемногу осматриваться. Он еще верит и Фуше и Тальену, но все чаще на его лице тревога, брезгливость, негодованье. Конечно, он против крови. Как ошибался Робеспьер, прибегая к террору! Страхом нельзя управлять. Подозрение охватывает Бабефа: Робеспьер хотел всеобщего благоденствия, Робеспьер был честным проповедником равенства. Может быть, он попросту думал уменьшить население республики, дабы обеспечить оставшимся процветание? Преступный проект! Не лучше ли всем сократиться? Спарта учит нас суровой экономии.

Бабеф пишет памфлет против виновника массовых казней в Нанте Карре<sup>19</sup>: он потопил в Луаре много невинных. Термидорианцы рукоплещут Бабефу, и Бабеф недоверчиво оглядывается: кто его новые друзья?.. Уж не аристократы ли?.. Он продолжает: «Во многом, однако, Робеспьер был прав»... Здесь те, что аплодировали, возмущенно кричат: «Прав - этот тиран? Прав Кромвель?»...

<sup>18</sup> О противостоянии робеспьеристов и термидорианцев, о событиях 9 термидора и о том, как изменилась оценка деятельности Робеспьера Бабефом, см., напр.: Е.Таланян, «Переворот 9 Термидора глазами члена Комитета общественного спасения» ([http://vive-liberta.narod.ru/journal/bb\\_tal.htm](http://vive-liberta.narod.ru/journal/bb_tal.htm)); К.Добролюбский, «Термидор» ([http://vive-liberta.narod.ru/journal/therm\\_react\\_dobr.htm#book](http://vive-liberta.narod.ru/journal/therm_react_dobr.htm#book)); П.Щеголев, «После Термидора» ([http://vive-liberta.narod.ru/biblio/shchegolev\\_thermidor.pdf](http://vive-liberta.narod.ru/biblio/shchegolev_thermidor.pdf)); Ц.Фридлянд, «Девятое термидора» ([http://vive-liberta.narod.ru/journal/fridl\\_therm.pdf](http://vive-liberta.narod.ru/journal/fridl_therm.pdf)).

<sup>19</sup> Жан-Батист Карре (16.03.1756 – 16.12.1794), депутат Национального конвента, проконсул в Нанте. Подавляя вандейский мятеж, Карре проводил особо жестокие карательные мероприятия против «подозрительных». Коллеги по Конвенту были, конечно, в курсе происходящего, тем не менее, Карре был отозван из миссии не сразу, а предан суду лишь несколько месяцев спустя после термидорского переворота. См. о нем: <http://vive-liberta.narod.ru/ref/ref3.htm#carr>.

Да, прав! Робеспьер хотел равенства. Кто боролся с преступной роскошью? «Неподкупный». Он знал, что опора революции - работники и землепашцы. Он положил начало новому законодательству, он пытался уничтожить бесполезное богатство и уродливую нищету. В этом Бабеф за Робеспьера.

Так происходит разрыв между термидорианцами и Бабефом. Начинается борьба. Бабеф выпускает газету «Свобода печати». Он открывает «Клуб избирателей». Там обсуждаются социальные законопроекты, вырабатываются петиции Конвенту. Реакция в стране растет. Эту реакцию, однако, еще зовут «революцией» и, решив закрыть Клуб якобинцев, поют «Карманьолу».

Бабеф меняет тон и меняет имена. Его газета теперь будет называться «Трибун народа». Это понятней. Он больше не Камилл: ведь Камилл хотел мира между патрициями и плебеями. Нет теперь он Гракх - неистовый и непримиримый. После долгих лет прозябания, провинциальных интриг, борьбы с мэром Руа, после вынужденного бездействия на подмостки революции подымается новый актер. Герои давно гниют на кладбище Пикпюса. Трагедию доигрывают жалкие дублеры: вместо Дантона витийствует Тальен, и бездарный Фрерон повторяет тирады Демулена. Устали и актеры и зрители. Но Гракх Бабеф полон огня. Для него революция только начинается. Он изумляет Париж душевным жаром, еще не растроченным в братоубийственной войне. Его имя, доселе известное только обитателям Руа да, пожалуй, тюремщикам десяти тюрем, сразу становится громким.

Тальен пробует приручить неистового Гракха, но тщетно. Бабеф отвечает: «Робеспьер несправедливо вами очернен». Одно отделяет Бабефа от Робеспьера - террор, гильотина, кровь. Но именно это - кровь, гильотина - роднит с Робеспьером термидорианцев. «Трибун народа» говорит: «Всеобщее благороденствие» - не слова. Оно должно стать жизнью». И весь Париж читает газету Бабефа. Вот толпа франтоватых юношей. Они щеголяют длинными локонами и лорнетами. С ними дамы в белых париках: диковинная прическа, волосы собраны в чуб. Это - новая мода - в память казненных. Красотки подражают тем, кто шел на гильотину. Теперь это не опасно. Юноши читают листок. Что это? Да «Трибун народа»! Они негодуют:

- Охвостье Робеспьера! Гнездо якобинцев! О чем думает Конвент? Смерть Бабефу!

На набережной Сен-Огюстен рабочие читают тот же листок.

- Браво, Бабеф! Хватай их за грину!..

Рабочие ропщут. Цены растут, а хозяева уменьшают поденную плату. Бабеф правильно пишет: «Как же гражданин может жить на сто су?..»

Имя Бабефа у всех на устах. Термидорианцы испуганы. Не проходит и трех месяцев, как на трибуну Конвента подымается депутат Мерлен: «Некто Бабеф, приговоренный к тюрьме, осмелился поносить Конвент. Комитет общественного спасения постановил арестовать Бабефа». Тальен улыбается. Его ждет, правда, разочарование: у «Трибуна народа» теперь немало друзей. Полицейские приходят с пустыми руками: «Бабеф скрылся».

Газета продолжает выходить. Она запрещена. Однако ее печатают. Ее продают. Ее покупают. С бедняками Парижа впервые говорят на понятном им языке. Правда, с первых дней революции им льстили. Пз их бедности создали гражданскую добродетель. В честь голытьбы республиканский календарь четыре дня окрестил «санкюлотидами». Ведь без кварталов Сен-Антуан и Сен-Марсо трудно было делать историю. Кого видали на улицах четырнадцатого июля или десятого августа? Не журналистов и не адвокатов, нет, шапочников, грузчиков, столяров. Им говорили о Руссо, о бессмертии души, о братстве всех народов, о мартиникских невольниках, даже о революции в Китае. Их звали к подвигам или к

к мести. Они на все отзывались. Они душили беззащитных узников в сентябрьские дни и умирали, как герои, на границах республики. Теперь они смотрят - что дальше?.. Сто сут в день? Хлеб всухомятку? На них лохмотья. В Конвенте не раз кричали: «Да здравствуют санкюлоты!» Но беднякам не дали ни коротких штанов, ни длинных. На улицах можно увидеть роскошные выезды, щеголей, откормленных перекупщиков. В окнах лавок снова часы, обсыпанные драгоценными камнями, ананасы, турецкие шали. А им что делать, так называемым «санкюлотам», - со славой защитников революции и с пятью франками за четырнадцать часов работы? Вот булочники попробовали было забастовать, но полиция силой загнала их в пекарни: они должны быть хорошими патриотами и честно работать. Того хочет республика. Но зачем же им тогда республика?..

И вот какой-то Бабеф говорит: «Их республика аристократическая и буржуазная, наша - народная и демократическая».

Здесь много диковинных слов, но это здорово сказано!.. И рабочие прислушиваются.

Бабеф продолжает: «Равенство должно существовать не только па бумаге. Все имеют право на труд, и все должны трудиться. Бездельникам нет места в обществе. Государство обязано всем предоставить равное образование и равные блага жизни». Здесь рабочие кричат «браво, Бабеф!».

Молодые люди, те, что с локонами, всё наглеют. Они теперь избивают на улице прохожих: «Держите якобинцев!..» Их зовут «молодчиками Фрерона». Они радуются, что уцелели в дни террора, но радуются они громко, навязчиво: то бьют статуи, то кидают в реку мастеровых, то просто кричат: «Довольно этого самого!..» Люди постарше, постепенней не бьют статуй, однако в душе они тоже думают: «Пора взяться за ум-разум». Всюду только и говорят, как бы наладить жизнь.

Термидорианцы у власти, и они, разумеется, хотят остаться у власти. Поэтому живые якобинцы проклинают мертвых, и вчерашние монтаньяры униженно просят вчерашних жирондистов забыть «былые обиды»; обиды - это не слова, это всего-навсего десятки тысяч убитых. Что ни день устраивается «чистка»: всех заподозренных в былой симпатии к якобинцам увольняют со службы, арестовывают, ссылают в Кайену. «Чистку» проводят недавние якобинцы. Они надеются на дурную память и на хороший грим. Эти разбогатевшие на грабежах плебеи старательно учатся аристократическим манерам. Мясник Лежандр, прославившийся тем, что жаждал съесть бифштекс из мяса аристократа, теперь ухаживает за бывшими графинями. Тальен полирует ногти и носит веер. Фрерон для хорошего тона даже начал картавить. Он отнюдь не картавил, когда при расстрелях тулонцев орал: «На них жалко республиканского свинца! Колите-ка их штыками...»

Правящая чернь дрожит при каждом выстреле. Она боится и патриотов и шуанов. Она боится всех и всего. Супруга гражданина Тальена, гражданка Тереза Кабарюс<sup>20</sup>, прежде работала со своим мужем в Бордо: он приговаривал к гильотине, а она за несколько луидоров добивалась помилования. Теперь в ее будуаре решаются государственные дела. Когда туалеты наконец съедают бордоские барышни, она начинает подрабатывать на богатых поклонниках.

<sup>20</sup> Ссылку на материалы о Фрероне см. выше. Жан Ламбер Тальен (23.01.1767 - 16.11.1820), типографский рабочий, депутат Национального конвента, проконсул в Бордо, один из «правых» термидорианцев: <http://vive-liberta.narod.ru/ref/ref2.htm#tl>. Луи Лежандр (22.05.1752, Париж, - 13.12.1797, Версаль), потомственный мясник, владелец мясной лавки, активный участник революционных событий 14 июля 1789 г., 10 августа 1792 г., друг и соратник Дантоне, депутат Национального конвента и, несмотря на свою необразованность, один из лучших ораторов Конвента; несколько приписываемое ему высказывание о бифштексах соответствует истине, установить трудно. Тереза Мария Игнасия Кабаррюс, маркиза де Фонтене, гражданка Тальен (31.07.1773 – 15.01.1835): [http://vive-liberta.narod.ru/revol\\_fem/revol\\_fem\\_1.htm#cabarrus](http://vive-liberta.narod.ru/revol_fem/revol_fem_1.htm#cabarrus).

Конвент занят ее умом и красотой. Это, видите ли, «богоматерь Термидора»! Так после Бурбонов, после Жиронды, после Робеспьера Францией правит ловкая потаскуха. Дальше, кажется, некуда идти, но все это еще называется «великой революцией», и над гостеприимной кроватью своей половины Тальен гордо восклицает: «Да здравствует свобода!»

Бабеф отвечает: «Свободы нет. Народ вами обманут. Террор не уничтожен, он перешел из одних рук в другие. В Конвенте только два рабочих депутата. На ткача Армонвиля напали вчера молодчики Фрерона за то, что он не хотел снять красного колпака. Они кричали: «Смерть якобинцам! Долой петушки гребешки!» Слесарь Пугит рассказал в Конвенте о нищете народа и о позорной роскоши торговцев. Его не хотели слушать. «Вы боитесь голоса народа. Жалкие плебеи, вы наслаждаетесь теперь новым для вас миром! Вы считаете за честь продажные объятья титулованных девок. Французы, глядите, вы снова подпали под власть шлюх!..»

Здесь гражданин Тальен не выдержал. Вся полиция была поставлена на ноги. В тот вечер, когда Тальма играл Нерона, а щеголи глумились над бюстом Марата, Тальен нервничал. Только поздно получив донесение полиции, он успокоился. Радостно крикнул он Терезе:

- Бабеф наконец-то попался!
- Тереза деловито повела бровью:
- Смотри, чтоб его не выпустили..

## 6

Ничто не могло теперь смириТЬ Бабефа. На первом же допросе он ответил: Имя? - Гракх. Возраст? - Тридцать четыре года. Профессия? - Трибун народа. Слов нет, сын эпохи, - когда любой базар превращался в форум, - он был падок на громкие слова. Но он не лгал: вести за собой народ стало для него профессией, а с такой профессией, разумеется, труднее расстаться, нежели с вывеской уездного землемера.

Термидорианцы хотели похоронить Бабефа в тюрьме. Его отослали подальше от парижских предместий: в Аррас. Что же, тюремная камера стала генеральным штабом. Правда, он хворал - головные боли, сердечные припадки, ревматизм. Но он был бодр, даже весел. Привыкший к осторожной жизни, он не отчаялся: клочок неба, прогулка по земляному полу длинной камеры, вечером песни или страстные споры. Как все это ему знакомо!.. Он, кажется, забыл лесок возле Руа, куда уходил по праздникам с женой и сыном. Во всех писаниях исповедовал он страстную любовь к природе: город изуродовал и развратил людей. Но он никогда не жил глаз со столь вожделенной природой. Лачуги Сен-Жиля, десятки различных тюрем, тесные каморки, где приходилось прятаться от полиции, - вот его жизнь.

Пока Бабеф сидел в арасской тюрьме Боде, на стенах Парижа появились анонимные листовки. В них парижане оповещались об аресте злоумышленника, самовольно называющего себя «Гракхом», который осужден трибуналом к двадцати годам тюрьмы за подлог. Листовки написал Фрерон. Он хорошо знал, что Бабеф невиновен, что приговор амьенского суда давно аннулирован но он надеялся очернить Трибуна народа. На беду, он проболтался: «Бабеф арестован за призыв к восстанию и к насильтственному распуску Конвента»... Честность Бабефа была известна всем. Парижанам оставалось только посмеиваться над наглостью Фрерона, который теперь прокучивал во всех притонах «Пале-Эгалите» тулоны контрибуции.

А Бабеф работал. Он ухитрился составить в тюрьме очередной номер газеты. Он написал «Послание Трибуна народа гражданам Сен-Антуана и всем

санкюлотам Парижа». Иногда силы оставляли его: он падал на нары без чувств. Как-то пришел к нему неизвестный гражданин:

- Я - офицер здоровья.

Бабеф приготовился к допросу, но неизвестный гражданин взял его руку и начал щупать пульс. «Доктор?» Бабеф расхохотался. Они не сумели ничего изменить, зато они придумали уйму новых названий. Лакеи теперь называются «доверенными лицами», сыщики «агентами власти», палачи - «исполнителями высоких приговоров».

- Значит, вы «офицер здоровья»? Ах, шутники!..

Доктор, будучи человеком осторожным, ничего не ответил. Он прописал Бабефу бальзам и пилюли.

В тюрьме было тесно и весело. Кто только тогда не сидел в тюрьме: воришки, патриоты, убийцы, священники из тех, что не помирились с республиканской властью, проститутки, роялисты, граждане чересчур умеренные и чересчур крайние, якобинцы, журналисты, фальшивомонетчики, шуаны, помещики, санкюлоты. Все это были такие же люди, как и те, что гуляли на воле; вернее всего сказать, что в тюрьме сидели неудачники.

Бабеф тотчас начинает спорить, убеждать, подбирает единомышленников. С ним вместе привезли из Парижа гражданина Лебуа, редактора газеты «Равенство». Но Лебуа недостаточно пылок. Он стоит за выжидание: нельзя без конца устраивать перевороты, народ устал. Лебуа уверяет, что беда не в Фрероне, не в Тальене, а в ограниченности человеческих сил: 93-й год не может повторяться ежегодно. Надо работать, постепенно проводить в жизнь высокие принципы революции. Бабеф усмехается: ждать? Ждать, пока скрытые роялисты не истребят всех патриотов? Ждать, пока бедняки не вымрут с голода? Нет, ждать преступно!

Итак, Лебуа не подходит. Тем паче, он бабник. В письме товарищу он по ошибке пишет вместо «дорогой» - «дорогая». Видно, он приучен к любовным цидулкам. На таких людей трудно положиться. Патриоты должны забыть обо всем, кроме борьбы за равенство.

Бабеф находит верного ученика, преданного друга, единомышленника. Это молодой гусар из Нарбонны. Ему всего двадцать четыре года. Он полон боевого задора. Зовут его Шарлем Жерменом. Это настоящий патриот. Он хоть молод и недурен собой, но думает не о женских сердцах, а о героях, воспетых Платоном. Он сидит в другой аррасской тюрьме Провиданс. Оттуда он прсылает элегию, обращенную «ко всем товарищам по несчастью»: «Опять коварство на земле царит. Так из отечества был изгнан Аристид, повержен Кассий, и Ликург сражен. Так под кинжалом падает Катон»... Стихи, правда, плохие, но ни перечень римских и греческих героев, ни хромающий кое-где размер не смущают Бабефа. Ведь сам Гракх пишет: «Дети Вулкана! Коварные пигмеи, рыскающие в Лемносе!» - это жаргон эпохи. Зато пылкость молодого гусара нравится Бабефу. Он шлет приветственное письмо из одной тюрьмы в другую. Дочка тюремщика служит им почтальоном. Жермен тотчас же отвечает: «Дорогой Гракх! Свобода не может погибнуть. Демократы должны объединиться. Я тебя обнимаю по-санкюлотски». Так начинается оживленная переписка между двумя патриотами, обреченными на бездействие.

Шарль Жермен не был ни философом, ни пророком, он был горячим, вспыльчивым и, пожалуй, чересчур одаренным для тех времен юношей. Он был притом южанином - быстрым на слово, неусидчивым, красноречивым. Говорил он замечательно, так что тюремщики и те развесивали уши. Он мог бы стать первосортным адвокатом, но его родители были бедны, и школы он не кончил. Он стал гусаром. Под республиканским флагом он дрался с австрийцами, читал

итальянским санкюлотам «Декларацию прав», хвалил Робеспьера, гонялся за тифилями и выслужился в лейтенанты.

Как-то в одном из клубов он произнес чересчур зажигательную речь. Женщины в умилении обнимали его. Но времена были уже не те: на дворе стоял фруктидор, а фруктидор, как известно, следует за термидором. Красноречивому лейтенанту пришлось выйти в отставку. Он приехал, конечно, а Париж: так приезжали все провинциалы, жаждавшие славы, признания или же спасения республики. Горячий нрав и здесь подвел его. Как-то он попал в Конвент. Говорил Тальен, говорил вкрадчиво и льстиво, стараясь влюбить в себя возвращенных жирондистов. Рядом с Жерменом сидел франтик. Сразу было видно – шуан. Вот этот франтик крикнул: «Пока не раздавят охвостье Робеспьера, Франция не получит покоя!» Жермен цыкнул: «Тише, аристократ!» Тот ответил: «Теперь тебе не девяносто третий!»... Тогда Жермен вышел из себя. Он начал вопить: «Да здравствует девяносто третий! Вечная память Максимилиану!» Арестовали обоих. Шуана сразу выпустили, а Жермена отправили в Аппас. Там он мог с утра до ночи читать Плутарха я писать элегии. Легко догадаться, как он обрадовался письмам Бабефа. Не прошло и недели, как он уже торопит Гракха: «Веди нас, трибун!»

Друзья обмениваются не коротенькими записками, а объемистыми трактатами. Впервые Бабеф подробно и стройно излагает свою критику существующего распорядка. Его возмущают не детали, не низость того или иного термидорианца, даже не Конвент. Нет, он теперь смотрит глубже. Он пишет Жермену: «Надо отменить варварский закон капитала». Так рождаются первые проекты нового общества, основанного на равенстве.<sup>21</sup> Пора действовать: «Мы довольно болтали!» Его послания, горячие и сухие, сводят с ума Жермена. Молодой гусар отвечает вспыхах. Сердце бьется, рука не успевает вывести слова: «Я готов, слышишь, я готов! Я уже говорил здесь с тремя надежными патриотами. Они все согласны войти в наш орден святого Равенства».

Жермен чист сердцем и страстен. Идеи Бабефа для него не политическая программа, а откровение. Он волнуется - готов ли он, Шарль Жермен, к столь высокому посвящению? Он вспоминает дни террора. Он видит перед собой кровь. Невольно он вздрагивает. Уныние тогда сменяет недавнюю приподнятость. Нужно ли это?.. Хочет ли народ столько крови? Но в двадцать четыре года сомненья делятся не долго. Вот он снова улыбается. Он рассказывает Бабефу о своей душевной борьбе, конечно ссылаясь при этом на мужей древности: «Ведь Брут перед тем, как пронзить кинжалом Цезаря, испытывал томление смутное и неопределенное»... Он даже радуется бессоннице, тревоге, раздору: «Это душа в последнем блуждании крепнет, чтобы вырваться наконец из мира условностей». К политическим битвам Жермен готовится, как готовились первые христиане к мученическому концу. Этот человек сейчас воистину счастлив. Он шутит, пишет стихотворные пародии - словом, всячески развлекает товарищей. Он и Бабефу советует: «Будем веселиться - это ведь бесит тиранов».

Но не так-то легко веселиться Бабефу. Бабеф не новичок. Он всего на десять лет старше Жермена, однако десять лет теперь - это полвека до революции. Он видел изнанку истории. Его сомнения и проще и тяжелей. В одном из писем он признается: «Нет у нас, к несчастью, волшебной палочки, дабы превратить прошлое в прах и вызвать из-под земли все потребное для нового общества

<sup>21</sup> Нет сомнений, что Илья Эренбург основательно изучил «Историю заговора во имя равенства», написанную Филиппо Буонарроти (в рус.переводе скоро появится в нашей библиотеке) и другие материалы, относящиеся к доктрине и работе бабувистов. Для научного знакомства с вопросом читателю можно рекомендовать книги В.Волгина «Французский утопический коммунизм» ([http://narod.ru/disk/8863360000/volgin\\_soc1.pdf.html](http://narod.ru/disk/8863360000/volgin_soc1.pdf.html)) и «Развитие общественной мысли во Франции в XVIII веке» ([http://vive-liberta.narod.ru/biblio/volgin\\_soc2.pdf](http://vive-liberta.narod.ru/biblio/volgin_soc2.pdf)), а также книгу М.Домманже «Бабеф и заговор равных» ([http://vive-liberta.narod.ru/biblio/babeuf\\_dommang.pdf](http://vive-liberta.narod.ru/biblio/babeuf_dommang.pdf)).

Равных». Так говорит человек, вспоминая танцы вокруг отрубленных голов, вспоминая тюрьмы 93-го, ложь, корысть, доносы, любовь к золоту и к крови многих горячих республиканцев. Но человек быстро уступает место Трибуну народа. Этот не боится заменить «волшебную палочку» ружьями и топорами. «Надо действовать! Наладить дело с Парижем, с патриотами Appаса. Остерегайся только шпионов. Подбери крепкое ядро». Гусар не мешкает. Гусар отвечает: «Сомневаться значит уступить. Черт побери! Идет! Я готов! Я жду только твоего слова, сигнала, чтобы начать...»

Пять часов утра. Косой луч солнца ударили в лицо Жермену. Гусар приоткрывает глаза. Он сладко потягивается. Ни храп соседей, ни тяжелый воздух камеры его не огорчают. Он молод и улыбается солнцу. Он достает из-под сенника книжку. Что же он читает с таким увлечением? Английский роман? «Альманах муз»? Нет, сочинения Гельвециуса: «Надо прежде всего уничтожить деньги. В странах, изобилующих золотом и роскошью, народы заведомо злосчастны. Деньги награждают только порок и преступление». И Жермен улыбается книге, улыбается своей мечте, выдуманной Франции, которая подобна Спарте. Пять часов утра. Двадцать четыре года. Такова первая любовь гусара из Нарбонны.

А за стенами тюрьмы все идет своим порядком. Революция спадает у всех на глазах, как река после половодья. Ее добивают не «союзники», не вандейцы, даже не юноши с локонами, - нет, она умирает на почетном одре, окруженнная вылинявшими флагами и опостылевшими всем песнями. Герои, фанатики, изувверы или просто отчаявшиеся еще пытают счастье. Они запружают улицы, останавливают крестьянские телеги, порой даже эскадрон драгун, но не историю. С ними идут тысячи, десятки тысяч голодных. Никогда Париж не знал такой нужды. Площади полнятся криками. Одни требуют «конституции 93-го года», другие «хлеба». Но 93-й прошел, а хлеба нет. Крестьяне не дают хлеба ни санкюлотам, ни роялистам. Термидорианцы подавляют за восстанием восстание. Проигран «Жерминаль», проигран и «Прериаль». Тюрьмы переполнены. Тюрем не хватает. Ничего не хватает: ни тюрем, ни хлеба, ни денег, ни разума.

В остроги Appаса шлют арестованных патриотов. Они угрюмо озираются. Перед ними еще пыль, кровь и шумливая суeta прериальских дней. Они рассказывают Бабефу:

- Патриоты требовали подлинного равенства...

- В Париже каждый день несколько граждан умирают от голода...

- Ты знаешь, кто усмирял квартал Антуан? Предатель Тальен. Он потребовал сдачи всего оружия. Генерал Мену навел пушки. Тальен объявил: «Я даю вам один час на размышление. Если нет, вас образумят ядра». Теперь все работники обезоружены... Арестованы десять тысяч патриотов. Бабеф негодует:

- Тальен, вычищенный якобинец, комиссар Конвента в Тулоне, хотел бомбардировать предместье Сен-Антуан, гнездо революции! Нет, эти люди заживо сгнили. Если не придет к власти народ, Франция погибла. Тогда нами будет править Мену или другой генерал. Рабочим они предпочли эполеты!

Один из арестованных рассказывает о смерти депутатов Конвента, примкнувших к повстанцам:

- Их судили и приговорили к гильотине. Шестерых. Среди них Гужона, Ромма, Субрани. Но они не дались живьем в руки новых тиранов... Гужон еще за несколько недель до прериала, встретив знакомого хирурга, сказал: «Укажи мне в точности, где находится сердце, чтоб я не ошибся, если равенству суждено погибнуть». Он не ошибся. Тогда кинжал взял из его похолодевшей руки Ромм, и

Ромм громко воскликнул: «Мои последний вздох за угнетенных!»... Все шестеро одним кинжалом...<sup>22</sup>

# Илья Эренбург

## ЗАГОВОР РАВНЫХ

Vive Liberta и Век Просвещения, 2009

<sup>22</sup> Последние монтаньяры:

Пьер Амаль Субрани (17.09.1752 - 17.06.1795). Дворянин, из старинной семьи Пюи-де-Дом. До Революции служил в королевском драгунском полку, не продвинулся в чинах дальше лейтенанта из-за независимого характера, подал в отставку. Организатор риомской Национальной гвардии. Мэр Риома. Депутат Легислативы, затем Конвента. Член Военного комитета, с весны 1793 до октября 1794 почти все время в миссиях при армиях: снабжает боеприпасами, обмундированием, лошадьми, провиантом, требует строгой воинской дисциплины и справедливости, издает патриотическую газету для солдат и младших офицеров, контролирует генералов, согласует оперативные планы. Ненавидит термидорианскую реакцию. Участия в прериальском восстании III года не принимает, тем не менее Конвент постановляет его арестовать. Узнав, что Жильбер Ромм заключен в тюрьму, отказывается от бегства и тоже оказывается в заключении.

Жан Мишель Дюруа (22.12.1753 - 17.06.1795). Депутат Легислативы, затем Конвента. Направлен в миссии в деп.Эр, в Рейнскую армию, в Ла Манш и др. департаменты. 1-го прериала выступает на стороне повстанцев.

Жан Мари Клод Александр Гужон (13.04.1766 - 17.06.1795). Из семьи мелких буржуа, рано столкнулся с житейскими и общественными неурядицами. Двенадцатилетним подростком занимается юнгой, в восемнадцать поселяется в Париже и работает клерком у прокурора. С 1789 года берется за перо, осмысливая и развивая моральные и политические идеи Руссо, Мабли, Рейналя. После 10 августа избран прокурором-синдиком Сены-и-Уазы. Сторонник таксации цен: «Свобода торговли зерном несовместима с существованием нашей Республики. И действительно, из чего состоит Республика? Из малого числа капиталистов и большого числа бедняков (...) Этот класс капиталистов и собственников, неограниченная свобода которых создает основную цену на зерно, распоряжается также и установлением рабочего дня». После изгнания из Конвента жирондистов избран одним из трех комиссаров Комиссии продовольствия и снабжения, разрабатывает национальные таблицы максимума. С февраля 1794-го обращается к вопросам дипломатии, в апреле заменяет в Конвенте Эро де Сешеля. Направляется в миссию при Рейнской армии за несколько дней до 9 термидора. Пытается сопротивляться реакции, защищая членов Комитетов, атакованных Лекуантром, возмущается арестом Бабефа и закрытием народных клубов. 8 марта 1795 единственный голосует против возвращения жирондистов. 1-го прериала требует выбрать комиссию и выполнить декреты, поставленные на голосование под давлением повстанцев, поэтому арестован как «посягавший на государственную безопасность». «...я умираю, довольный тем, что не изменил своей клятве. Я умер бы еще более довольным, если бы был уверен, что после меня [конституция 93 года] не будет уничтожена и заменена другой конституцией, в которой равенство будет недооценено, права человека нарушены и по которой масса народа будет совершенно подчинена более богатой, единственной главной касте правительства и государства.»

Филипп Жак Рюль (3.05.1737 - 29.05.1795). Сын лютеранского пастора из Страсбурга. В 1789 г. он состоял на службе в канцелярии у одного из немецких князей - для шестидесятидвухлетнего человека неплохое, наверное, положение, - но Рюль вернулся во Францию. Администратор департамента. Депутат Легислативы. Депутат Конвента - именно он был первым его председателем с 20 сентября по 4 октября, как самый старший по возрасту депутат. Еще раз председатель - Конвента - с 6 по 21 марта 1794. Комиссар, обязанный следить за переводом декретов Конвента для не франкоговорящих граждан. Член Комиссии Двенадцати, обязаный инвентаризировать документы, найденные в железном шкафу, докладчик по этому вопросу. Член Кобщей безопасности. Один из дехристианизаторов. Отказался подписать декрет об аресте «умеренных». Постоянно работал в миссиях: Мерт, Мозель, Нижний Рейн, Марна, Верх.Марна. После 9 термидора был в числе обвиняемых в организации Террора. Принял участие в прериальском восстании... При разборе этого неудавшегося восстания с его возрастом посчитались и оставили его под домашним арестом, но ненадолго.

Доменик Франсуа Жозеф Дюкенуа (7.05.1749 - 17.06.1795). Сын земледельца, служил до Революции в драгунах. Депутат Легислативы, затем Конвента. Направлен в миссии в северные департаменты. Командирован также в Дюнкерк вместе с Карно, в битве при Ваттини воодушевляет войска, идя в первых рядах в атаку. Разоблачает некомпетентных, по его мнению, генералов. Сам подвергается обвинениями со стороны Эбера, пользуется поддержкой Робеспьера. Снова направленный на Север и затем в Мозель, проявляет себя как властный и авторитарный комиссар. 10 августа 1794 г. заставляет исключить Тальена из клуба Якобинцев и избивает Гюффруа. Обвинен в том, что является одним из руководителей прериального восстания. Из прощального письма жене: « Вы знаете мое сердце, оно всегда было чистым. Я умираю достойным Вас и моей страны, ради блага, за которое я не прекращал бороться».

Здесь Бабеф отворачивается. Он уходит в темный угол. Вот уж ночь. Проверка. Засыпают заключенные. Бабеф не спит. Он видит перед собой шестерых. Он видит революцию: лужа крови. «Где сердце?.. Чтобы не ошибиться...» Как болит здесь!..

Что это? Снова сердечный припадок. Пиллюли не помогают. Сердце бьется, ноет. Какое томление! Может быть, вскоре и ему, Бабефу, предстоит поднять с земли этот кинжал?..

Так проходит ночь среди сердцебиения и тоски, огромная черная ночь - кто через нее переступит?..

Утром он овладевает собой. Письмо в Париж. Записка от Жермена. Разговор с новым патриотом. Он снова работает. Проходят недели, месяцы. Однажды ему передают письмо от жены, горестное, полуграмотное и нестерпимо нежное: умерла дочка, умерла от голода, выдавали всего две унции, а прикупать - не было денег... Еще глубже западают глаза Бабефа. Еще жестче и горче становится его голос. Он пишет «Послание к дьявольской армии». Все патриоты Арраса теперь связаны с ним. В городе готов вспыхнуть бунт. Власти колеблются: уж не перевести ли Бабефа в Париж? Он повсюду опасен - на воле, в тюрьме, в столице, в глухом городишке. Кажется, только в могиле успокоится этот человек.

А ночи длинны, и ночи жестоки: детский гроб, голодная семья, недуги, слабость, измена патриотов, обманутый народ, полумертвая революция. В горле Бабефа слезы, мужские, одинокие, непоправимые слезы. Но нет, не думайте, что он сдался! Товарищ спрашивает:

- Ты приуныл, Гракх?

- Нет, я веселюсь.

Бабеф действительно смеется.

- Ты видишь, я веселюсь, чтобы бесить тиранов.

## 7

Годовщина девятого термидора была объявлена национальным праздником: «Падение тирана Робеспьера». Торговцы с охотой закрыли лавки; они ведь отпускали теперь товар скрепя сердце: утром получишь пачку ассигнаций, а к вечеру на них не купить и свечи. Народ празднику тоже обрадовался: в этот день обещали выдать каждому гражданину целый фунт хлеба. Обещания, однако, не сдержали: легче было свалить еще сотню тиранов, нежели раздобыть муку.

Дожди и холода, стоявшие весь мессидор, заставляли опасаться плохого урожая. Виноград погиб, и вино теперь пили только торговцы, интенданты или депутаты. Все же в праздник видали по полфунта хлеба, а шутники говорили: «Максимилиан помогает нам даже после смерти». Хлеб был черный, мокрый, тяжелый, но никто не привередничал. Правда, на базарах было сколько угодно хлеба, белого как снег, но стоил он восемнадцать ливров за фунт. Крестьяне сидели на телегах, как на королевских тронах: они не боялись «десятого августа» - их ведь никто не мог свергнуть. У них была мука, и сало, и масло. Презрительно поглядывали они на чересчур свежие ассигнации. Пренебрегая патриотическими чувствами, они требовали серебряных монет с изображением казненного Капета.

Полфунта хлеба. Итак, да здравствует национальный праздник!..

Даже победа над роялистами при Кибероне не растрогала парижан. «Французская газета» уныло писала: «Завоевание всего мира и повсеместное торжество революции обрадовало бы меньше этот город, нежели увеличение пайка хотя бы на одну унцию».

Голодали, впрочем, не все. Проницательные граждане умело сочетали республиканский пыл со своими интересами. Они поставляли для революционных армий рубахи, седла, сапоги, гетры, фураж, сало, даже трехцветные знамена, и они неплохо зарабатывали. Другие просто спекулировали. Гражданка Бертен,

бывшая маркиза, недавно заработала семьдесят пять тысяч на прованском масле, а гражданин Сиро, ее бывший конюх, перепродал тридцать ящиков с флорентийскими шляпами и купил модный кабриолет.

Итальянский бульвар называли «Маленьким Кобленцом». Там собирались все, кто покупал белый хлеб по вольным ценам. Утром там перепродаивали партии льна или запасы кожи, а вечером флиртовали, радовались победам неприятельских армий или просто разглядывали друг друга. Было что разглядывать! Мужчины щеголяли веерами, припудренными локонами, которые назывались «собачьими ушами», восемнадцатью пуговицами жилетов, дамы - греческими туниками «а-ля Диана» или «а-ля Клеопатра», сандалиями, изумрудными или оранжевыми панталонами, браслетами на руках и на ногах. В вопросах моды «Маленький Кобленц» был настроен революционно. Нужно было большое искусство, чтобы, выйдя после завтрака на улицу, не показаться к вечеру смешным провинциалом. У каждой дамы было по меньшей мере сорок париков. Глядя на модниц, народ хмурился: кроме морали, его смущал вопрос о картошке - кумушки уверяли, будто весь картофель идет на изготовление пудры, оттого его нет в лавках.

Что касается модниц, то картошке они предпочитали другие, более изысканные яства. После горьких годов настала эпоха хорошего аппетита. За четыреста-пятьсот ливров у ресторатора можно было получить скромный завтрак: бараний бок, шпигованного фазана, паштет из зайца, шоколадное суфле. Корсеты больше не стесняли красавиц, можно было есть всласть. В этот год голодный богатый Париж что ни час полнел, как надуваемый баллон. Докторам приходилось теперь лечить не от болезней, но от здоровья, один из них разбогател на пиллюлях, которые позволяли есть вовсю, не тучнея.

Кроме яств, модниц соблазняли танцы. Еще недавно они прятались в погребах. Они засиделись и надышались трупным духом. Теперь им хотелось танцевать. В первый же год «вольной жизни» открылись шестьсот сорок четыре танцульки. Среди них славились и «Балы зефир» на кладбище Сен-Сюльпис. Уцелевшие счастливчики отплясывали на могилах. Траур стал увеселительным костюмом: кто только не мечтал попасть на знаменитый «бал жертв», куда допускались исключительно родственники гильотинированных!..

Париж был переполнен провинциалами: жизнь в столице казалась заманчивой. «Меблированные комнаты» не пустовали. Улицы покрылись новыми плакатами. Вместо приказов о сдаче излишков серебра, парижане читали рекламы «Эликсира красоты» или «Балов Серала». В «Пале-Рояль», который был переименован в «Пале-Эгалите», кишили спекулянты. У них была, если угодно, своя форма: желтые ботинки, длинные куртки, колпачки с хвостиками. Они часто забегали в кафе, но не успевали там выпить чашку кофе: слишком быстро рос луидор. Вчера за него давали семьсот ливров ассигнациями. Сегодня он продавался уже за восемьсот пятьдесят.

В «Пале-Эгалите» вновь открылись ювелирные, гастрономические, модные лавки. Десятки ресторанов с отдельными кабинетами и с музыкой зазывали клиентов. Книжные лавки торговали скабрезными картинками. В верхних этажах помещались игорные дома. На зеленом сукне порой лежали сотни тысяч золотом - барыш патриотов, поставивших армии гнилое сукно или тухлое сало. Под вывеской «Египетский массаж» бывшие виконтессы приготовляли для щеголя ванну из шипучего вина, в ванне растирали его живот. Знатоки уверяли, что это очищает кровь и придает лицу аристократическую томность, а бывшие лакеи или же цирюльники мечтали походить на своих вчерашних господ.

Каждый вечер у мороженщика Гарши собиралось самое изысканное общество. Среди «сорбетов» и «парфе» здесь занимались делами, а порой и высокой

политикой. Вот красотка, ее зовут Дианой. Для Дианы она, пожалуй, чересчур тучна. Но юноши томно вздыхают: «богиня!» Она в легкой газовой тунике: эту моду ввела госпожа Тальен. На пухлых руках, повыше локтя, запястья. Шляпка украшена шелковыми розами, и розы надушины: последнее изобретение Дианы. Наставив на богиню крохотные лорнеты, юноши лепечут:

- Пгекасно! Бозественно! Неповтогимо! Невегоятно!

Они картают, шепеляют, сюсюкают - этого требует хороший тон. Им хочется показать, что они никогда не ездили на запятах и не торговали вразнос. Поглядеть на них - это настоящие, чистокровные аристократы!

Но о чем так оживленно разговаривает богиня? Может быть, о стрелах Купидона? Не те времена! «Батист»... «Свечи»... «Кофе»... Богиня знает, что даже фисташковое мороженое теперь не дается даром.

Юноши говорят о политике. Фрерон недостаточно дерзок. Надо истребить всех террористов. Господин (да, господин, - у Гарши нет граждан, «граждане» здесь только лакеи), господин де Мэн только что приехал из Марселя. Он рассказывает о подвигах «Солнечного братства» - так зовут на юге порядочных людей. Они мигом очистили все тюрьмы. Это очень просто. У арестантов ведь нет оружия. А стража смотрит сквозь пальцы. Четыреста якобинцев за два дня! Притом это вовсе не обременительно. В Марселе тоже и веселятся и танцуют. После работы - можно пойти на бал. Дамы щедро вознаграждают бесстрашных. Рассказ марсельца вызывает зависть.

- Почему же Фрерон не ведет нас?..

- Боится. Он ведь сам из террористов. Трус!

- В тюрьмах Парижа достаточно убийц. Надо бы их почистить... Всех этих прериальцев и анархистов...

- А в первую голову Бабефа...

Неожиданно они замолкают. Общий шепот восторга, благоговения. «Она!» Она - это, конечно, «богоматерь Термидора». Когда она появляется, все забывают о батисте, об убийствах, о ценах на сукно, о Бабефе, Не то чтобы всем так нравилась госпожа Тальен, но мода, мода...

В годовщину девятого термидора, однако, «богоматерь» не осчастливила своим присутствием мороженщика Гарши. Ей было не до сорбетов. Возглавляя нацию, республику, революцию, она председательствовала на банкете в память исторического дня. В этот вечер она была «богиней Мудрости». Это, конечно, не помешало ей вдоволь оголиться, так что один из гостей, взглянув на тучные груди Терезы, забыл о «мудрости» и воскликнул:

- Капитолийская Венера!

Тереза принимает гостей в своей «хижине». Это опереточный домик, на крыше его нарисована солома, а вокруг расставлены цветы в горшочках. Развлекалась же в Малом Трианоне преступная австриячка - почему бы не развлекаться жене депутата Конвента, гражданке Тальен?

Что ни день Тереза выдумывает новую моду. На этот раз она дивит гостей своими голыми ножками. Вместо сандалий - котурны, а на пальцах ног кольца с рубинами. Слуга Терезы остерь на язык. Улучив минуту, он шепчет камеристке:

- У этой суки кольца на передних лапах и на задних.

Тереза, рассеянно улыбаясь, выслушивает комплименты:

- Божественные ножки! Геба! Киприда, вышедшая из пены! Аврора среди облаков!

- А знаете ли вы, что мои ноги искусаны крысами? В тюрьме, в Бордо... Во время террора.

И Тереза грустно вздыхает. Наивный Лувэ долго разглядывает ноги, ища рубцы. Он не находит их, да и не может найти. Тереза просидела в бордоской

тюрьме всего день или два. Ее освободил Тальен. Он был большим бабником и представителем Конвента, она - хорошенькой аристократкой, которая жаловалась: у мужа реквизировали столовое серебро. Они сразу поняли друг друга, бывший лакей и бывшая маркиза. История с крысами родилась после термидора: не только новые моды умеет придумывать Тереза!

Рассказав в сотый раз о крысах, Тереза спрашивает:

- А котурны, гражданин Лувэ? Вам нравятся котурны? Это ведь приближает нас к нравам Аркадии. Ах, Греция - вот мой идеал! Обувь груба. Кстати, вы слыхали, что в Медоне обнаружили остатки страшной мастерской - там приготавливали сапоги из человеческой кожи. Говорят, что изверг Сен-Жюст носил сапоги из кожи жирондистов.

Здесь даже наивный Лувэ не может скрыть усмешки: ай да Тереза! Но как же не очернить лишний раз Сен-Жюста?<sup>23</sup>

- Что же, это на него похоже...

Гостей попросили к столу. На следующий день официальный «Вестник» писал о «скромной товарищеской трапезе». Как должны были усмехаться приглашенные, читая эту заметку и вспоминая вчерашнее пиршество!

Тереза обожала искусство. На клавесинах лежали ноты казненной королевы, а суп был сервирован в севрских чашках. Вином Тальен хвастал не зря: что за «Бон»! Что за токайское! - все из погребов эмигрантов. Пили в тот вечер на славу, пили не просто, а с тостами: таков был новый обычай, принесенный из Англии, и хоть в Англии сидел проклятый Питт, все светские люди старались подражать британцам. Тосты подчеркивали политический характер банкета: термидорианцы братались с жирондистами.

Будь здесь только Тальен, Баррас и Фрерон, они могли бы ограничиться одним внушительным тостом - «за нашу спасенную шкуру!». Календарная дата невольно вызывала воспоминания: горячий, душный день, белесый туман, трусливые перемигивания депутатов, еще не знающих, чья возьмет, и наконец крик, жестокий крик Робеспьера: «Председатель убийц! В последний раз я требую слова». Но убийцы не любят лишних слов. Фуше хорошо поработал: вокруг Робеспьера - пустота. Его брат кричит: «Я хочу разделить участь Максимилиана!» Героизм одного человека пугает свору шакалов. Тогда Фрерон вытирает потный от страха лоб и бормочет: «Как трудно свалить тирана!»

Термидорианцы, подымая тост «за девятое», могут многое вспомнить. Они связаны прошлым. Грабили? Все. И все, приехав из обчищенных городов - из Бордо, Марселя, Тулона, - шли на поклон. О, эта комната на улице Сен-Онорэ и холодный взгляд «Неподкупного», очки, сухой полупоклон, неизвестность: простил? решил погубить?.. Они хорошо помнят эти паломничества.<sup>24</sup> Они уцелели. Они пьют токайское. Бокалы победоносно звенят: «Да здравствует девятое термидора!»

Они спаяны давним страхом, но с какой охотой хоть сейчас, за этой «товарищеской трапезой» они предадут друг друга! Надо глядеть в оба. Эти разбойники при дележке благородством не грешат. Где их товарищи по термидору? Фукье де Тенвиль казнен. Коло д'Эрбуа и Бильо-Варен сосланы в

<sup>23</sup> Жан-Батист Луве де Кувре (12.06.1760 - 25.08.1797), литератор, хорошо известный современникам, в наше время знают, пожалуй, лишь название одной из его книжек - «Похождения кавалера де Фоблаза». Депутат Национального конвента, жирондист, был в числе проскрибированных после 2 июня 1793 г., но избежал ареста: <http://vive-liberta.narod.ru/ref/ref3.htm#louvet>.

Луи-Антуан Сен-Жюст (25.08.1767 – 28.07.1794), депутат Национального конвента, член Комитета общественного спасения, соратник Робеспьера: [http://vive-liberta.narod.ru/fantasm/SJ/sj\\_ind.htm](http://vive-liberta.narod.ru/fantasm/SJ/sj_ind.htm). Сапоги (по другим версиям - лосины) из человеческой кожи, парики из волос казненных и т.п. стоят не больше, чем Терезина басня о покусавших ее крысах.

<sup>24</sup> Этот эпизод восходит, очевидно, к мемуарам Барраса, см. в библиотеке Eleonore D.: [http://pylippel.newmail.ru/documents/barras\\_therm.html](http://pylippel.newmail.ru/documents/barras_therm.html).

Кайену - «сухая гильотина», Амар и Барер в тюрьме, наконец, Фуше, душа всего заговора, - сам Фуше в опале. Одного за другим выдают термидорианцы своих товарищней, только чтобы ублажить умеренных и спасти себя.

Сегодня Тальен обхаживает Буасси д'Ангия, Бувэ, Ланжинэ. Он льстит - ведь у жирондистов слишком много поводов, чтобы ненавидеть этого якобинца. Пока он в Бордо кутил с Терезой, они прятались в подвалах. Тальен подымает тост:

- За жертв былой тирании!..

Жирондисты пьют молча. Что у них в голове, никто не знает. В томлении Тальен декламирует:

- Я плачу над прахом Вернио, Кондорсе, Демулена...

Правда, он не плачет, он ест индишку с трюфелями, но голос его вибрирует, как хрусталь бокалов. Буасси д'Ангия шепчет своему соседу Бувэ:

- Лучше бы он их тогда защитил, чем теперь плакать...

Ах, тяжело дается высокая политика гражданину Тальену! Кроме старых обид «Жиронды», у него сейчас другие заботы: Сиэс<sup>25</sup> что-то пронюхал. Правильно сказал проклятый Робеспьер о Сиэсе - «это крот революции». Он вечно подкапывается под кого-нибудь. Вчера он намекнул Тальену, что ему известно о каких-то письмах. И Тальен не может успокоиться. Разве его, Тальена, вина, что он любит женщин, хороших портных, «трант'э-карант», охоту на ланей в Сен-Жермене, токайское вино - словом, все блага жизни вплоть до «египетского массажа»? «Неподкупный», тот хорошо знал Тальена. Он сказал: «Тальен на все способен ради денег и ради юбок». Одна Тереза сколько стоит!.. Тальену нужны деньги. Другие продают драп или сахар. Он любит крупную игру: он продает Французскую Республику, с конституцией, с Конвентом, со знаменами - «на слом». Он один? Как будто не тем же занят его сосед Баррас! Надо только, чтобы до поры до времени никто не знал. И вот этот подлец Сиэс что-то пронюхал... О переговорах с испанцами в пользу дофина? Может быть. А может быть, все дело в письме Людовика Ксавье к своему кузену герцогу д'Артуа? Так или иначе, надо показать, что он - непримиримый враг роялистов. Баррас вовремя подымает бокал:

## Илья Эренбург

## ЗАГОВОР РАВНЫХ

### Vive Liberta и Век Просвещения, 2009

<sup>25</sup> Антуан Кентен Фукье-Тенвиль (12.06.1746 - 7.05.1795) – юрист, исполнял обязанности общественного обвинителя в Чрезвычайном революционном трибунале; термидорианцем ни в какой мере не является: <http://vive-liberta.narod.ru/ref/ref2.htm#fqtnv>.

Жан-Мари Колло д'Эруба (19.06.1749 – 8.06.1796), актер, драматург, переводчик, театральный администратор, депутат Национального конвента, член Комитета общественного спасения: <http://vive-liberta.narod.ru/ref/ref1.htm#CHrb>.

Жан-Никола Бийо-Варен (23.04.1756 – 3.06.1819) – адвокат, преподаватель, литератор, депутат Национального конвента, член Комитета общественного спасения: <http://vive-liberta.narod.ru/ref/ref2.htm#BV>.

Жан-Батист Андре Амар (11.05.1755 - 21.12.1816), депутат Национального конвента, член Комитета общей безопасности: <http://vive-liberta.narod.ru/ref/ref3.htm#amar>.

Берtrand Барер (10.09.1755 – 13.01.1841), адвокат парламента Тулузы до Революции, депутат Генеральных штатов, затем Национального конвента, член Комитета общественного спасения, публицист: <http://vive-liberta.narod.ru/ref/ref1.htm#BB>.

Франсуа Антуан Буасси д'Ангия (8.12.1756 - 20.10.1826), депутат Национального конвента, представитель так наз. «болота», или «равнин». Он не сочувствовал открыто жирондистам и ему не приходилось скрываться: [http://vive-liberta.narod.ru/ref/ref3.htm#bs\\_an](http://vive-liberta.narod.ru/ref/ref3.htm#bs_an).

Пьер Викторен Верньо (31.05.1753 - 31.10.1793), депутат Национального конвента: <http://vive-liberta.narod.ru/ref/ref2.htm#vrn>.

Мари-Жан Антуан Никола Кондорсе (17.09.1743 - 29.03.1794), философ, депутат Национального конвента: <http://vive-liberta.narod.ru/ref/ref2.htm#cnd>.

Эммануэль Жозеф Сийес (3.05.1748 - 20.06.1836), аббат, представитель Третьего сословия в Генеральных штатах, публицист, политический деятель: <http://vive-liberta.narod.ru/ref/ref1.htm#si>.

- За Тальена. За героя Киберона!

И Тальен решает; сдавшихся роялистов следует расстрелять. Это подымет его престиж в глазах народа. Если Сиэс замает поднять вопрос о письмах, Тальен ответит: «Я доказал мою ненависть к сторонникам престола».

Еще тост: «За новую конституцию!» Это не бред якобинцев как в 93-м. Это настоящая конституция, совсем как у англичан: верхняя палата, избирательный ценз, - словом, оплот порядочных людей, а не черни. И Тальен напоминает Буасси д'Англя:

- В дни прериаля, когда многие колебались, я первый воскликнул: «Пусть преступники погибнут прежде, чем взойдет солнце!..»

Здесь на минуту все замолкают. Ромм, Гужон, Субрани - образ этих людей слишком чист. Даже Баррас смущен развязностью Тальена: хорошо, прикончили, но зачем вспоминать?..

А Тальен уже занят другим: бордоские капиталы проедены, вопрос о короле пока только вопрос, остается спекуляция. Он вошел в компанию с военным интендантом на улице Таранн. Хорошо бы заручиться помощью Барраса. И под звон бокалов он шепчет:

- Для итальянской армии... Сорок тысяч... Но об этом после...

Тальен, однако, не договорился с Баррасом. Сюра. Потом Лувре очем-то начинает спорить с Фероном. Оба стучат ножами о севрские тарелки. Лонгинэ пробует отвлечь внимание новыми тостами:

- За пленного Костюшко! За друзей свободы и равенства во всех странах мира! За героев! За жертвы!

Тостов слишком много. Эмигранты знали толк в токайском. Все покраснели, оживились. Крик. Летят стаканы. В голосах теперь угроза.

- Фуше тайком поддерживает Бабефа. Вы снова хотите вернуть террор!..

- Это вы - анархисты!..

- Вы - друзья киберонских бандитов!..

- А ты, Ферон? Твои молодчики?.. В первую очередь страдает севрский фарфор. В Барраса полетела чашка. Кто-то хватает соседа за ворот.

- Убийцы!..

Тогда над всем раздается кокетливый голосок хозяйки:

- Ах, зачем же так волноваться? Я предлагаю тост за забвение!

Кто здесь не выпьет за забвение былых грехов? И, шатаясь, гости приподымаются, они целуют ручки «богоматери». Пятнадцать тостов не шутка, и Тереза вместо руки сует Баррасу ногу. Тот, немного подумав - стоит ли? - целует.

## 8

В событиях тех лет, при всей их внешней пестроте и помпезности, было некое однообразие. Модницы меняли парики, республиканские армии побеждали, народ умирал с голоду, и что ни месяц в Париже вспыхивал бунт - якобинцев или роялистов - по очереди. Все презирали случайных правителей Франции, но никто не мог вырвать власть из их слабых и вдоволь трусливых рук. В дни прериаля Конвент спасли «молодцы Ферона», скрытые роялисты, уцелевшие аристократы. Они ненавидели Тальена, Барраса, Карно, но они их спасли: из двух зол они выбирали меньшее.

Прошло четыре месяца. Тринадцатого вендемьера решили попытать счастье роялисты. Генерал Мену, храбро стрелявший в рабочих Сен-Антуана, тотчас отдал приказ об отступлении, увидев кучку щеголей. Члены Конвента готовы были разбежаться. С какой охотой они бы сдались! Одно удерживало их: страх. Ведь это они послали на эшафот Людовика. Все эмигранты клялись: «Нет пощады цареубийцам». Трусы были снова спасены мужеством уцелевших патриотов, а также находчивостью молодого генерала по имени Бонапарте.

Баррас красноречиво прославлял победу. Появились темные парики. Голод все усиливался, и тюрьмы не пустовали. Конвент одобрил новую конституцию и приступил к выборам Директории. Правительство ненавидели и рабочие, и буржуа, и аристократы. Многие хранили еще душевный жар, и готовность умереть за Францию, кто под республиканским флагом, кто под хоругвями вандейцев. Но среди страшней, смуты, голода, ассигнаций, ненависти бывший виконт Баррас продолжал целовать ручки Терезы и самодовольно улыбаться.

Изнеможение страны, явившей миру примеры подлинного героизма и пламенности, - какая благодарная тема для художника! Однако во Франции не было ни поэтов, ни писателей, ни драматургов. Андре Шенье погиб на гильотине. Брат его Жозеф был излюбленным автором эпохи. Он писал посредственные пьесы о гибели тиранов и патриотические стихи на случай.<sup>26</sup>

Театры показывали агитационные фарсы или аллегорические трагедии, сочинения безграмотные и бездушные. Один и тот же автор ухитрился до термидора написать «апофеоз Марата», а год спустя «апофеоз Шарлотты Кордэ». После Расина, Мольера, Бомарше актеры разыгрывали трагедию повреждителя Бабефа, Сильвана Марешаля: «Последний суд королей». Слов нет, у Марешаля были и гражданские чувства, и отзывчивое сердце. Талантами драматурга он, однако, не отличался. В его пьесе санкюлоты всех стран соединялись. Они ссылали королей на необитаемый остров. Там Екатерина Великая плакала на животе у римского папы. Потом происходило извержение вулкана, и все короли летели в море под пение «Марсельезы».<sup>27</sup> Эту пьесу играли, разумеется, в 93-м. После термидора ее заменил «Кабинет террористов», где подло и тупо высмеивались вчерашние герои.

В «Альманахе муз» или в «Играх Аполлона» печатались скучные приторные стихи, изобилующие словами «тиран», «деспот», «знамена», «цикута», «Ликург», «Брут», «декимвират». Никто из переживших революцию не знал, как ее описать. Публика читала переводные романы с английского. В Гренобле двенадцатилетний мальчуган Анри Бейль глядел на беглых монахов, на уличные танцы, сначала на повешенных аристократов, потом на повешенных якобинцев, на быструю смену властей, песен, эмблем, - это будущий писатель Стендаль учился науке человеческих страстей.

Пошлые трагедии, последние пасторали, неумелые портреты новых богачей (с обязательными чертами аристократов), Шекспир в переделке Дюси, памятники «Гидра контрреволюции», аллегории, выстрелы, скука. Два человека подымались над грустной угодливостью своих собратьев. Они были связаны общей любовью к искусству Эллады, уроками революции, наконец - человеческой дружбой. Тальма был актером Давид живописцем. Может быть, они и были слишком мелки для французской революции, для революционной Франции они были куда как велики. Их порой хвалили, порой ругали. Мало кто их понимал. Позднее оба дождались признания, богатства почестей, но в годы владычества блудливой Терезы Давид сидел под замком за дружбу с Робеспьером, а Тальма что ни день подвергался оскорблению молодчиков Фрерона.

Давид и в тюрьме продолжал работать. Он мог бы пасть духом: он ведь мечтал о торжестве разума, о воскресшей Элладе, о народных празднествах на площадях, о новом Париже прямых, широких проспектов, ясном и точном, как геометрическая фигура. Вместо этого он увидел только котурны на ножках Терезы. Тогда он вспомнил: искусство! Пусть из зала Конвента выкинута его

<sup>26</sup> Андре-Мари Шенье (28.10.1762 - 25.07.1794): [http://vive-liberta.narod.ru/ref/ref1.htm#chn\\_a](http://vive-liberta.narod.ru/ref/ref1.htm#chn_a). Мари-Жозеф Шенье (11.02.(28.08 ?)1764 - 10.01.1811): [http://vive-liberta.narod.ru/ref/ref1.htm#chn\\_mj](http://vive-liberta.narod.ru/ref/ref1.htm#chn_mj).

<sup>27</sup> «Страшный суд над королями» можно прочесть в нашей библиотеке: <http://vive-liberta.narod.ru/biblio/smarech1.pdf>. Это пьеса, очень напоминающая написанную через полтора века «Мистерию-буфф» В.Маяковского.

лучшая картина: «Смерть Марата». Пусть сам он брошен в острог. Пока в его руке кисть, он может бороться. На полотне выполнит он то, что не удалось ему выполнить в жизни. И Давид задумывал большие полотна, где сердце должно уступить место вычислению. Давид ведь недаром любил Робеспьера, подобно Максимилиану он презирал хаотичность чувств. Как-то в начале революции старик Фрагонар сказал ему: «Я дивлюсь вашему мастерству, но у вас нет чувствительности. Молодые следуют за вами, и вы смеетесь надо мной. Что же, настанет пора, когда будут вас отрицать, а на моих полотнах учиться. Рассудочность и чувства издавна сменяют одно другое. Только гений совмещает точность формы с биением сердца». Давид был слишком страстен, чтобы согласиться с Фрагонаром. И Давид верил, что «Похищением сабинянок» откроет новую эру в искусстве, достойную великих греков.<sup>28</sup>

Тальма не был ни членом Конвента, ни организатором гражданских процессий, ни ревнителем математики. Он был всего-навсего великим актером. Он не мог жить будущим: его создания ежевечерне умирали среди бутафории, люстр и свистков. Он должен был расточать свой дар перед наглыми зеваками, случайно попавшими вместо «Бала зефир» или притона «Нежный гарем» в зал театра. О гении Тальмы можно сказать одно: даже этих людей он заставлял плакать.

Уже десять часов. Спектакль кончен. Кабриолеты с бубенчиками развозят спекулянтов по домам. Посты проверяют паспорта. На площадях дремлют отряды солдат. Еще один бунт. Какой завтра?.. Сняв грим и сменив тогу на темно-оливковый фрак, Тальма идет домой. Он живет на улице Шантрэн, в небольшом особняке. Там все подчинено вкусу хозяина и одобрено самим Давидом: панно расписаны в стиле этрусских ваз, лиры, орлы, зеркала с пола до потолка, колонки, вместо ламп канделябры, помпейская мебель, порядок и легкий холодок. Это скорей декорация для очередной трагедии, нежели жилая квартира. Но Тальма ведь не замечает, где кончается будничная речь и где начинается гекзаметр.

В доме Тальмы, конечно, имеются и чердак и погреб. Там теперь не сушат белья и не выдерживают вин. Нет, в погребе живет актер Фюзиль. Это якобинец, усмирявший в свое время Лионское восстание. Он завсегдатай кафе Кретьена и один из рьяных сторонников Бабефа. После прериала полиция хотела его арестовать. Тальма укрыл Фюзилия. А на чердаке?.. Что же, и чердак не пустует, там скрывается некто Левассель, молодой роялист, замешанный в мятеж венденмьера.

Тальма приходит домой. Он спрашивает свою жену, Жюли: «Кто сегодня ужинает с нами?» Тальма по очереди приглашает к ужину то Фюзилия, то Левасселя. Но сегодня он говорит Жюли:

- А что, если позвать обоих?.. Ведь так они умрут, если не на гильотине, то от скуки. Мы, конечно, представим их друг другу под чужими именами. Ты будешь смотреть, чтобы разговор не касался политики, и все обойдется...

Действительно, ужин проходит спокойно. Беседа идет о новой пьесе Дюси, о проказах госпожи Богарне, о полетах на воздушном шаре. Тальма говорит:

- Как мало занимают современников успехи человеческого гения! Всем известен новый парик гражданки Тальен, но вряд ли даже просвещенные умы знают, что астроном Лаланд открыл новую планету. Он назвал ее «Нептуном».

Фюзиль усмехается:

- Праздные забавы аристократов! Наука должна служить нуждам народа. Аэростаты, может быть, окажутся полезными для военных операций, но звездами нельзя никого насытить.

- Позвольте, я налью вам еще бокал вина...

<sup>28</sup> Жак-Луи Давид (30.08.1748 - 29.12.1825). См. его письма и речи: [http://vive-liberta.narod.ru/biblio/art\\_benois.htm#david](http://vive-liberta.narod.ru/biblio/art_benois.htm#david). Другие материалы: <http://vive-liberta.narod.ru/ref/ref1.htm#dvd>.

О, Тальма не думает спорить! Жюли приносит вазу с грушами. Кажется, опасность миновала... Но молодой роялист вступается за звезды:

- Астрономия хороша уже тем, что она безвредна. А кстати, можно ли насытить народ кровью? При старом режиме хлеб был у всех и не по унциям...

Тальма пробует отвести бурю. Жюли предлагает спеть новую итальянскую канzonу. Но хозяева уже бессильны, их не слушают. Фюзиль кричит:

- Вы говорите о свободе?.. Я видел, как фрeronовские ребята сорвали с женщины медальон - на нем, видите ли, был портрет гражданина в красном колпаке.

- Красный колпак справедливо возбуждает негодование. Почему, я спрошу вас, красный? У римлян был белый, у Вильгельма Телля бурый. А красный цвет - это цвет крови.

- Да! Крови! Крови наших героев, которая пролилась, и крови тиранов, которая еще прольется...

Левассель заносит стул над головой Фюзилля:

- Так может говорить только якобинец!..

Фюзиль не остается в долгу:

- А вы презренный роялист!..

Несмотря на трагичность положения, Тальма едва сдерживает улыбку. Он берет спорщиков за руки, тихо говорит:

- Тише, друзья! Тише! Теперь все время ходят патрули. Они могут услышать. Тогда вы лишитесь погреба, а вы чердака.

Не страх, изумление заставило опустить руки готовых было кинуться друг на друга врагов: он тоже!.. Они постояли с минуту молча, потом не выдержали, расхохотались: здорово, Тальма!..

Хозяева остались одни. Они сидели понуро, не разговаривая друг с другом. Давно уже эта комната не видала гражданских страстей. Былые воодушевители, где они?.. Бриссо, Везино, Кондорсэ - все погибли. Можно ли кровью доказать правду? Бездарный актер Коло д'Эрбуа стал членом Комитета общественного спасения, и он тотчас арестовал всех актеров «Французской Комедии». Как это просто и как безнадежно! Теперь другие арестовывают других. Давид, гордость Франции, Давид в тюрьме! Презренный Тальен сказал: «Талант не может служить оправданием». Злосчастный народ, который умерщвляет своих гениев! Ум Кондорсэ был слишком велик. А Шенье, нежный Шенье, друг Жюли, который вот там, в углу, стоял и, волнуясь, читал свои элегии. Ему отрезали голову. «Талант - оправдание?» О нет, для них одно служит оправданием - низость!..

Жюли подошла к мужу. Нежно она обняла его. Она была старше, мудрее и печальнее, - ведь у нее не было ни подмостков, ни горения, ни славы. Все ее друзья погибли на эшафоте, и она знала, что молодой Тальма не сегодня-завтра ее покинет. Угадывая мысли мужа, она говорит:

- Да, жестокое время. И все же я счастлива, что жила в нашу эпоху. Мне кажется, что в горе мы стали бескорыстнее, светлее...

Тальма теперь стоит перед длинным зеркалом. Он не сразу отвечает. Он залюбовался своей гримасой - жесткой и беспомощной:

- Да, Жюли, да, мой друг, революция многому меня научила! Она научила меня понимать мои роли.

Тальма, как известно, играл во многих пьесах, он играл и героев и преступников, но лучше всего удавались ему роли свирепых властолюбцев, одиноких фанатиков, а также людей, подверженных глубокой меланхолии.

наконец ловкий делец Рейбель получили парадные мундиры, шляпы с плюмажами, апартаменты в Люксембургском дворце и высокое наименование: «граждан директоров».<sup>29</sup>

Директория продолжала политику Конвента: она лавировала. После поражения роялистов из тюрем были выпущены патриоты: держать сразу в тюрьмах все партии не могли даже изворотливые граждане директоры. Отнюдь не думая об укреплении республики, они хотели задобрить республиканцев. Хоть ассигнации падали что ни день, никогда еще люди не верили так свято в могущество денег. Директория щедро раздавала пенсии, пособия, теплые местечки в глухой провинции, подряды, просто подарки. Станки, печатавшие ассигнации, работали вовсю. Патриоты продавали себя поштучно и партиями. Якобинцы ведь тоже были людьми. После скучности тюремной жизни они улыбались посту налогового администратора в Монпелье или военного интенданта в Безансоне. Гражданская непримиримость котировалась все ниже и ниже.

Система подкупов была системой Барраса, его политической мудростью, даже его мировоззрением. Он никогда не говорил «нет», видя перед собой должное подношение. Дайте много - он продаст Луи Ксавье республику, дайте несколько луидоров - он устроит подряд фляг для армии, возвращение во Францию эмигранта или оправдание неуклюжего жулика. Баррас глубоко верил, что за деньги можно купить всех и всякого.

## Илья Эренбург

### ЗАГОВОР РАВНЫХ

Vive Liberta и Век Просвещения, 2009

<sup>29</sup> Жан Поль Франсуа Никола Баррас (30.06.1755 - 29.01.1829): <http://vive-liberta.narod.ru/ref/ref2.htm#brs>.  
Никола Лазар Маргерит Карно (13.05.1753 - 2.08.1823): <http://vive-liberta.narod.ru/ref/ref3.htm#carnot>.  
Этьен Франсуа Луи Оноре Летурнер, или Ле Турнер (15.03.1751, Париж, - 4.10.1817, Лекен, Бельгия). Окончил школу военных инженеров в Мезье (1768), дослужился до чина капитана. Примкнул к Революции, был избран председателем Общества друзей конституции в Шербуре, депутатов от Ла Манша в Легислативу и затем в Национальный конвент. Был членом Военной комиссии, работал, в частности, в Тулоне. В 1795 г. реорганизовал средиземноморскую эскадру. Член Совета Старейшин от Ла Манша. 9 июня 1797 г. получил чин генерала и должность генерального инспектора артиллерии. В марте 1800 г. Наполеон Бонапарт назначил его префектом деп.Ниж.Луары, затем советником Контрольной палаты (1810). После реставрации Бурбонов Летурнер, как «цареубийца», вынужден уехать в Брюссель, где и умер.

Луи-Мари де Ла Ревельер-Лепо, или Ларевельер (24.08.1753, Монтэго, - 27.03.1824, Париж). Из семьи состоятельного землевладельца в Анже. Изучал право в университете, некоторое время был адвокатом Парижского парламента, но по каким-то причинам быстро вернулся в родные края, где интересовался главным образом естественными науками. Депутат Генеральных штатов от третьего сословия Анжу, член Бретонского (Якобинского) клуба; в 1792 г. избран депутатом в Национальный конвент. После изгнания жирондистов (2 июня 1793 г.) сложил депутатские полномочия; вернулся в посттермидорский Конвент (8 марта 1795 г.). Один из редакторов Конституции III года. Член совета Пяти Сотен, он избран директором (1 ноября 1795 г.). В составе Исполнительной дирекции ведал главным образом культурными и религиозными вопросами. Вместе с Баррасом и Ревбелем подготовил государственный переворот 18 фрюкидора (4 сентября 1797). Весьма интересовался дипломатией и Итальянской кампанией. После государственного переворота 18 июня 1799 был обвинен в военных и политических поражениях Франции и вынужден был уйти в отставку. Жил как частное лицо, основное внимание уделяя теофилантропической доктрине. Умер в бедности.

Одним из близких ему людей в последние годы его жизни был скульптор Пьер-Жан Давид, называемый Давид Анжерский. П.-Ж.Давид материально поддерживал семью Ларевельера, обеспечил образование его внучке, которая потом стала женой Давида; издал воспоминания Ларевельера.

Жан-Франсуа Ребель, или Ревбель (6.10.1747, Кольмар, - 24.11.1807, там же). Сын нотариуса, правовед, занимал неплохое положение до Революции. Депутат в Генеральные штаты, затем в Национальный конвент. Придерживался политически умеренных взглядов; занимался главным образом дипломатическими вопросами – отношения с Германией, Бельгией и Голландией; сторонник аннексий. После переворота 18 брюмера отошел от политической деятельности.

Гракх Бабеф, освобожденный после венденьера, продолжает выпускать газету «Трибун народа». Он обличает Директорию. Он говорит: «Революция - это война между богатыми и бедными», «девятое термидора - злосчастный для народа день». Он возмущается нравами директоров: «Неужели цель революции - поставить на место свергнутых новую касту революционеров, дать им золото, богатство, земли, дворцы, прекрасных куртизанок - словом, все блага земли?» Хуже того, Бабеф выступает с проповедью невиданных доселе порядков. Даже страшный «аграрный закон», этот черный передел, его не удовлетворяет: что пользы разделить землю - завтра снова воцарится неравенство. Нет, Бабеф теперь требует уничтожения богатства, обязательности труда, государственного контроля над всеми работами. К голосу Бабефа прислушивается народ, измученный голодом, безработицей, дороговизной. Все в революции потеряно, обманули все, - может быть, этот Гракх говорит правду?.. Да, число его сторонников растет. И гражданин Бар-рас снисходительно улыбается: Бабеф против Директории? Что же, надо подкупить Бабефа. Этот бедняк, наверное, и не нюхал хорошей жизни. Он, кажется, даже сидел в тюрьме за неудачный подлог. Стоит только посулить ему сытую жизнь, как он станет на всех перекрестках расхваливать патриотизм Директории!

Баррас знал свое ремесло. Он начал подыскивать нужного ему человека. С Тальеном Бабеф давно рассорился. Поговорить с Жавогом? Но Жавог горяч и честолюбив. Он, чего доброго, предаст дело огласке. Тогда, может быть, Фуше? Ведь Фуше друг Бабефа. Конечно, Фуше!..

На следующий день Бабеф получил записочку от «преданного друга Ф.» с приглашением прийти к нему: помимо дружбы, имеется важное дело.

Фуше все побаивались, даже Фуше в опале. Он жил с семьей в мрачной мансарде, то есть попросту на чердаке, жил в нужде и одиночестве. Только два человека поддерживали с ним отношения: Баррас и Бабофф. Баррас понимал, что Фуше ему может быть полезен. Фуше отменный семьянин. У него уже умер один ребенок. Он обожает второго - уродливого заморыша. Он теперь на все пойдет ради денег. И Баррас пользовался услугами Фуше, его хитростью и его храбростью. При подавлении роялистского бунта Фуше тайком помогал Баррасу - имя Фуше было слишком ненавистно «умеренным», и Баррас не хотел себя скомпрометировать. Баррас ценил Фуше.

А Бабеф? Бабеф ему верил.

Доверчивость - это природа человека, ее трудно поколебать. «Фуше не продался аристократам!» - так защищал своего друга Бабеф. Он был прав: Фуше не сразу пошел по пути Фрерона или Тальена. Но не продался он только потому, что не оказалось покупателей, кроме на редкость бесстыдного Барраса. Эмигранты в Лондоне требовали голову Фуше: «Его надо повесить!...»<sup>30</sup>

Фуше видел, что его час еще не настал, он старался держаться в тени. Он как бы выпал временно из истории, довольствуясь тесным чердаком. Он выжидал.

Илья Эренбург

## ЗАГОВОР РАВНЫХ

Vive Liberta и Век Просвещения, 2009

<sup>30</sup> Жозеф Фуше (31 (21).05.1759 - 26.12.1820), учитель в коллеже до Революции, депутат Национального конвента, проконсул в Невере и Лионе, примыкавший к радикальным революционерам-эгалитаристам; один из дехристианизаторов; один из главных термидорианцев. После периода опалы вернулся на политическую сцену, был назначен министром полиции и играл важную роль в государственной жизни в период Консулатата, Первой империи, Старт дней, вплоть до второй Реставрации. См. собрание материалов о Фуше: <http://vive-liberta.narod.ru/ref/ref1.htm#fcht>. Чтение Маккиавелли, как и весь эпизод, явно навеяны сценой из пьесы Ромена Роллана «Робеспьер», наверняка знакомой Илье Эренбургу.

Бабеф идет к Фуше. Бедность обстановки укрепляет его доверие. Он крепко жмет руку. Вот участь подлинных патриотов! Фуше - верный друг! Когда Бабеф сидел в тюрьме, Фуше помог его семье. Он дал десять франков. Чем теперь он живет? Фуше объясняет - торгует свиньями. Ничего не поделаешь - все торгуют! Бабеф раздосадованно морщится. Как все? А патриоты, преданные революции? У Бабефа тоже семья, он тоже хороший отец. Впрочем, лучше уж торговать свиньями, нежели гражданскими чувствами. Фуше охотно соглашается - он ведь еще не упомянул о предложении Барраса.

Бабеф говорит о необходимости объединения патриотов. Теперь ясна цель: не смена властителей, даже не возврат к конституции 93-го года, но интегральное равенство.

Фуше иронически улыбается:

- Это моя старая мысль. Ты только теперь дошел до этого, а я еще в Лионе объявил: «Нужно углубить революцию, чтобы буржуазия не стала на место аристократии». Я первый ввел принудительные работы. Я отдал приказ о выпечке «хлеба равенства». Я объявил о прогрессивном налоге и брал с богачей шестую часть капитала...

Фуше не лжет. Он смел и находчив во всякой работе. Он был отменным патриотом. Он будет опорой Империи и даже доверенной персоной благовернейшего монарха Людовика XVIII. Из всех поприщ он облюбует полицию. У него уже имеется некоторый опыт. Он ведь в Лионе не только говорил об Углублении революции. Он там работал. Кто во время Геберта разрушал церкви, поил ослов из дарохранительниц и писал на порогах кладбищ сентенции: «Смерть навсегда»? - Фуше. Кто потребовал уничтожения Лионе - город должен быть разрушен, а на пепелище поставлен памятник: «Здесь находился город Лион, восставший против свободы, его больше нет»? - Тот же Фуше. Кто выполнял приказ о разрушении и сносил за кварталом квартал? Кто заменил гильотину пушками, ибо гильотина слишком медленно работает для революционного времени? Кто истреблял ежедневно сотни граждан? Да все он же, бывший воспитанник духовной семинарии, почитатель Макиавелли, спокойный и слегка насмешливый Фуше. Бабеф повторяет:

- Хоть ты не предал...

Ах, высокий дар доверчивость!.. Кого только не предавал Фуше? Он был вначале с жирондистами, он вовремя их предал. Он поставил на Дантоне. Он ошибся. Что же, он предал Дантоне. Он смиренno пошел на поклон к Робеспьеру. Он отрицал свое безбожие, распущенность нравов, даже лионские зверства. Он убедил Робеспьера в своей невинности, а убедив, тотчас его предал. Кого он предает теперь - Бабефа? Барраса? Может быть, обоих?..

Он переходит к делу: нужно выждать. Он повторяет любимое свое изречение:

- Главное, это считаться с обстоятельствами. Время за нас и против них.

Он говорит витиевато, с цитатами, с аллегориями, то чересчур логично, то щеголяя сложными риторическими фигурами. Из него бы вышел отменный проповедник. Недаром даже в те времена, когда по его приказу в соборы загоняли свиней, он разыскивал перепуганного аббата, чтобы с ним побеседовать на богословские темы.

Медленно подходит он к цели:

- Баррас связан. Ведь Карно покрывает роялистов. Но Баррас - патриот. Он хочет помочь нам. Ты ошибаешься, Бабеф, нападая так злобно на Директорию. Этим ты способствуешь успеху шуанов. Теперь прямые дороги пройдены. Следует не ошибиться в выборе тропинки. Я тебе предлагаю мою помощь. Я читал тридцать четвертый номер «Трибуна». Там много чрезмерно резкого. Ты поступишь правильно, показывая мне номер до выпуска. Мы сможем совместно

смягчать опасные пассажи: «Трибун» должен быть за республику. Против роялистов. Тогда нам обеспечено содействие. Ведь теперь, наверное, трудно издавать газету? Не так ли?

Еще плохо разбиаясь в словах Фуше, Бабеф угрюмо отвечает:

- Еще бы! Все тайком. Продавцов хватают. Друзья говорят мне: «Вот ты и на свободе». Нет, я сменил одну тюрьму на другую. Работать приходится в подвале. Нет света. Нет бумаги. Ты, наверное, заметил, сколько опечаток? В каждой строке. И краска плохая. Трудно читать. Что же, так работал Марат, когда ему пришлось скрываться от аристократов. Тоже в подвале. А «Друг народа» сплотил легионы патриотов. Я не унываю. Но ты? Откуда этот мед? Как ты, Фуше, защищаешь изменника Барраса? Ты предлагаешь мне щадить этих грабителей? Друг, я тебя не узнаю!..

Бабеф отвернулся. Он не видит, что Фуше едва заметно усмехается:

- Я все тот же. Только времена не те. Ты должен уметь отступать, как всякий просвещенный полководец. Не то тебя разобьют. Что значит твой листок рядом с «Курьером» или с «Оратором» - их продают на всех углах. Тебе нужны деньги, то есть подписчики. Не спорь - это понимает каждый; без подписчиков нет газеты. Сколько их у тебя сегодня? Двести? Триста? А если ты согласишься, завтра у тебя будет шесть тысяч, и все платные. Понимаешь - шесть тысяч.

- Кто тебе это сказал?

- Кто? Конечно, Баррас.

Бабеф встает. Он смотрит в глаза Фуше. Он понял все. Он сдерживает себя, чтобы не кинуться на предателя. А Фуше все так же лениво усмехается. И здесь впервые Бабеф видит, что Фуше страшен. У него белое лицо. Ни кровинки! Этот человек ни разу в жизни не покраснел и не побледнел. Глаза у него красные, совсем как у белых кроликов. Он никогда не смотрит прямо. Но и на него трудно смотреть: это не лицо, а маска. Дантон, Робеспьер, Кутон - все от него отворачивались. Бабеф, однако, не сводит глаз с Фуше. Его голос глух.

- Я больше тебе не верю. Ты - как другие. Ты хочешь сразу всем угодить. Им и нам. Ты всех предашь. Прощай, Фуше, нам не по дороге!

Бабеф уходит. А Фуше все продолжает усмехаться, один, без соглядатаев - для себя и для истории. «Не по дороге»?

Еще бы! Революция - это строптивая кобыла. Дурен! Ее Бабеф метит прямо под копыта. А Фуше? Фуше ее взнудзает.

Дождь стучит о чердачное окошко. На столе четверка греческого хлеба. Жена босая - сносила ботинки. Торговец свиньями Фуше нежно гладит младенца, белого и красноглазого, как отец. Он не учывает. Кто-кто, а он добьется своего!

10

Нивоз был особенно лют. Многие вспоминали даже о прошлой зиме, как о «добром старом времени». Рабочий Париж волновался. Он слышал пламенные речи о правах человека. Он видел празднества, фейерверки, танцы, «трапезы равенства», всю кровавую батафорию революции. Он стрелял, устраивал перевороты, гудел в сотнях клубов. Но жизнь его была еще тяжелее прежнего. Хозяева расплачивались ассигнациями. Что можно было купить на эти бумажки? Мясо в рабочих семьях теперь варили только по праздникам. Редко-редко топили печь, и тогда несколько семей грелись у скучного огня.

Жестокой была работа в те времена. Работать начинали в пять, кончали в семь, час на обед - тринадцать часов работы. В маленьких мастерских было еще труднее. Когда переплетчики на шестой год революции потребовали четырнадцатичасового рабочего дня, все изумились их дерзости: «Лодыри! разучились работать». Детей и тех не щадили. Покойный Конвент, среди двух оваций в честь «санкюловов всех стран», выдал фабриканту Бютелю из городских

приютов пятьсот девочек, возрастом до десяти лет. Дети эти работали бесплатно - «на хозяйственных харчах». Фабрикант Делетр содержал детей, работавших в его пряильне, по системе графа де Румфора. Делетр был республиканцем, Румфор эмигрантом, но кто же не прислушивается к разумным советам?.. Граф де Румфор изобрел новые методы питания рабочих: хлеб, мясо, сало слишком дороги; пустой суп получил гордое наименование «супа а-ля Румфор». Содержание ста пятнадцати рабочих обходилось передовому фабриканту столько же, сколько стоила в ресторане «Пале-Эгалите» одна тарелка супа «а-ля бывший Конде».

Однако сильнее «румфоровских супов» пугало рабочих другое хитроумное изобретение. С утра до ночи парижане толпились на Иль-де-Синь: там открылась первая паровая мельница. Сведущие люди уверяли, что в литейных мастерских Крезо скоро поставят десять машин и разочтут всех рабочих. А за литейщиками останутся без работы и ткачи. Что же делать бедным людям, когда выдуманы эти чертовские машины?..

Впрочем, может быть, лучше сразу умереть!.. Все равно работаешь шестнадцать часов и не вырабатываешь на хлеб. Настроение дня, даже политическая ситуация определялись пайками. Фример и нивоз оказались на редкость голодными. Вчера в квартале Тампля вовсе не выдавали хлеба, сегодня в квартале Пантеона хлеб был заплесневевший. Начались забастовки.

Грузчики порта Бернар собрались на улице Сен и постановили: на триста ливров в день жить нельзя. Их разогнали. Главари были арестованы. Вслед за грузчиками выступили литейщики из мастерской пушек, что на улице Лилль. «Как? Республиканские армии проявляют героизм в Италии, а вы не хотите помочь им?» Снова последовали аресты. Забастовки, однако, не прекращались: мебельщики, носильщики, мукомолы, шляпочники, типографы, ткачи - все предпочитали тюрьму или смерть голодной каторге.

Хозяева составляли петиции Директории. Они жаловались на наглость рабочих: допустимо ли, чтобы наемные люди обсуждали условия труда или заработную плату!..

Директория делала все, что могла: забастовщиков сажали в тюрьмы, а на их места посыпали солдат. Министры подготовляли декрет о запрещении забастовок, которые приравнивались к разбою. Однако терять рабочим было нечего, и волнения не утихали.

В бывшей церкви св. Елизаветы помещалась большая мастерская мешков. Там работали триста женщин. Находчивый гражданин Деле получил подряд на мешки. Работали с пяти до поздней ночи. В мастерской было холодно, сыро, темно. Руки коченели, и слезились глаза. Здесь же кричали голодные дети. У одной работницы умер среди дня ребенок. Она начала плакать. Вся мастерская всполошилась. Но мешки должны быть поставлены к сроку. «Что тут смотреть?.. Не видали вы мертвого ребенка?.. Живо, за работу!..»

Однажды в эту мастерскую зашли рабочие, человек тридцать или сорок. Они начали кричать:

- Дуры! Зачем только вы работаете?.. Лучше, чтоб нас всех перестреляли, чем так жить!..

Работницы тотчас бросили работу. Выйти из мастерской им, однако, не удалось: прислали отряд драгун. Все были арестованы. У одного из смутьянов нашли старый нож и газету Бабефа. Министр полиции торжественно оповестил граждан директоров, что восстание сторонников Бабефа подавлено. Он, конечно, умолчал о том, что драгуны, тюрьмы, декрет об отмене пайков, грубость хозяев, наконец он сам, министр полиции,- всё и все работают на Бабефа.

«Трибун народа» продолжал печататься тайком. Полиция арестовала жену Бабефа. Эта женщина ничего не понимала в политике. Она маялась и до

революции и после. Ее мужа то и дело арестовывали. Он о чем-то мечтал, говорил горячие речи, лихорадочно шагал из угла в угол. Она не понимала ни цитат из Плутарха, ни всей этой суматошной жизни: зачем люди столько спорят, поют песни, голодают, сажают друг друга в тюрьмы и уныло танцуют вокруг эшафота? Революция казалась ей нелепым и злым сном. Но эта простая женщина свято верила в честность своего Франсуа, которого теперь должна была звать Гракхом. Безропотно она сносила лишения, болезни и смерть детей. В одном городе и в одно время жили эти две женщины: Тереза Тальен - бывшая маркиза, и Мария Бабеф - бывшая служанка.

Арестовав жену Бабефа, министр полиции самодовольно улыбался: теперь и Трибун народа в его руках. На что не пойдет любящая мать, зная, что ее дети остались у тюремных ворот?..

- Где скрывается ваш муж? Молчание.

- Не упирайтесь. Скажите, и мы вас выпустим. Вспомните о ваших детях.

Разве ей нужно напоминать о ее горе? Разве мало говорят им эти красные припухшие глаза? Но большего они от нее не добьются! Франсуа - честный человек. Он верит в то, что делает, не она его предаст.

Охотясь за Бабефом, Директория в то же время старалась заручиться поддержкой «бабувистов». Баррас вел настолько сложную игру, что многие, дивясь неожиданному ходу, думали, что у него имеется какой-то чрезвычайно хитрый план. На самом деле никаких планов у Барраса не было. Он просто трепался как флюгер, то направо, то налево, отменяя вечером утренние приказы, но храня при этом осанку государственного деятеля, даже мудреца.

Испуганная мятежом роялистов, Директория позволила сторонникам Бабефа открыть «Общество друзей республики». Разумеется, полицейские агенты стали ревностными членами этого общества. Баррас надеялся, что люди, любящие поговорить, удовольствуются клубной эстрадой, а дальше разговоров дело не пойдет.

Новое общество устраивало собрания в подземной церкви бывшего монастыря св. Женевьевы, по соседству с Пантеоном, в обиходе его называли «Общество Пантеон». Что же, тогда даже эта усыпальница была ареной политических страсти:

мертвые не ведали покоя - Мирабо и Марат были сначала торжественно погребены в Пантеоне, а потом оттуда вынесены.

Помещение придает собраниям «пантеоновцев» романтический оттенок: чад факелов, темнота, резонанс голосов, плесень на стенах, древние кресты и трехцветные кокарды. Число членов быстро растет, их уже две тысячи. Подземелье св. Женевьевы, как римские катакомбы, служит убежищем для всех униженных, для всех мечтателей, а также для всех непримиримых. Среди балов и салонов это последнее пристанище затравленной, однако еще живой революции.

Конечно, далеко не все «пантеоновцы» сторонники Бабефа. Подлинных «бабувистов» или, как они зовут себя, «равных» немного. Они держатся осторожно, чтобы не отпугнуть граждан, которые возмущаются выходками «золотой молодежи» или дурным качеством хлеба, но всемерно уважают «священное право собственности», декларированное новой конституцией.

Бабеф, преследуемый полицией, не может лично руководить работой клуба. Но он пишет доклады, вырабатывает резолюции, обсуждает с друзьями программу очередного собрания. Он окружен преданными и энергичными единомышленниками. Помимо людных сборищ «Пантеона», «равные» встречаются в частных домах. Там они спорят и о близком, и о далеком: каково должно быть положение гражданок в «республике равных»? Как ответить на новые аресты патриотов?

Кроме бывшего гусара Жермена, завербованного в аррасской тюрьме, у Бабефа два ближайших сподвижника. Это воодушевители «Пантеона» Дартэ и Буонарроти. Трудно представить себе людей более несхожих: энтузиаст и фанатик, музыкант и казуист, угрюмый, низколобый, прямолинейный Дартэ и чересчур нежный для своей биографии пизанский аристократ Филипп Буонарроти. Что делать, и среди «равных» нет равенства, а в заговоре слепая преданность Дартэ столь не нужна, сколь светлый ум Буонарроти.<sup>31</sup>

Дартэ, уверовав во что-нибудь, от своей веры не отступает. С первых дней революции он примкнул к самым крайним. Он участвовал во всех уличных боях. Революция стала для него привычной жизнью, и жить вне революции он больше не мог. О своем детстве или о студенческих годах он вспоминал с улыбкой снисхождения: глупое время! То ли дело, когда он брал Бастилию, с народом шел в Версаль, чтобы вытащить Капета из его логова, или во главе отряда патриотов доставал муку для голодающего Парижа. Робеспьер показался ему самым крайним, и он примкнул к Робеспьеру. У революции было множество профессий. Бывший студент-юрист, он стал, разумеется, не защитником, а прокурором. Немало семей в Аррасе и в Камбре заставил он плакать. Он не грабил, он был честен, неподкупен, как его идол - Максимилиан. Но слезы для него так же мало значили, как и луидоры. С врагами он не знал пощады. Это не было особой его, Дартэ, жестокостью, нет, в те времена даже девушки хохотали, завидев телегу с осужденными. Дартэ спокойно, деловито писал гражданину Леба: «Гильотина в Камбре не ленится. Графы, бароны, маркизы, самцы и самки падают, как град». После термидора он случайно уцелел, но не сдался. Он не стал каяться, подобно многим, в былых грехах. Когда его арестовали, он крикнул: «Да здравствует Робеспьер». С Бабефом он встретился в тюрьме. Робеспьера больше не было, а Гракх клялся, что он продолжит дело «Неподкупного». Дартэ недолго раздумывал. Он стал рьяным «бабувистом».

С Дартэ Бабеф часто советуется - как бы свергнуть преступную Директорию? С Буонарроти он в свободные часы беседует о Руссо, о природном равенстве, о мудрой простоте свободолюбивых греков. Потомок Микеланджело Филипп Буонарроти - один из самых просвещенных умов эпохи. Когда во Франции Дартэ и его сотоварищи взятием Бастилии перепугали всю Европу, Буонарроти жил во Флоренции. Он был очень молод, красив, знатен. Он жил безбедно в городе гуманистов, кипарисов и бледноликих красавиц «куатроценто». Он бросил все. Сломя голову поехал он на Корсику. Он издавал там газету, вещал о братстве народов и вскоре восстановил против себя все корсиканское духовенство. Его преследовали. Он скрывался в горах и неожиданно снова появлялся. Он попытался устроить десант в Сардинии. Он сидел в ливорнской тюрьме. Его имущество в Тоскане конфисковали. Но это его ничуть не огорчило. У него теперь была одна родина - революция. Приехав в Париж, он сблизился с якобинцами. Конвент, «ввиду оказанных республике услуг», наделил его французским гражданством. Да, у революции было много профессий. Буонарроти не стал прокурором. Он отправился в ряды республиканской армии проповедовать итальянским санкюлотам идеи французской революции. Подобно Дартэ, он любил Робеспьера. Он любил его за другое, - Робеспьер был достаточно сложен, чтобы

<sup>31</sup> Огюстен Александр Дарте (1.10.1765, Сен-Поль-сюр-Тернуаз, - 27.05.1797, Вандом). Сын хирурга, изучал право в Париже. Принимал участие в революционных событиях июля 1789 г.

В 1790-93 гг. избирался на разные должности в муниципалитет своего родного города и администрацию деп.Па-де-Кале. В период проконсульства Жозефа Лебона в Аррасе был его секретарем, затем общественным обвинителем департаментского суда. Как «террорист», пробыл в тюрьме с июля 1794 до конца сентября 1795 г.

Филиппо Джузеппе Мария Лодовико Микеле Буонарроти (11.11.1761 - 17.09.1837): <http://vive-liberta.narod.ru/ref/ref3.htm#phbuon>.

чтобы привлекать к себе различных людей. После термидора Буонарроти арестовали где-то возле Генуи. Как Жермен и Дартэ, он сблизился с Бабефом в одной из тюрем. Проповедь всеобщего благоденствия его взволновала до слез. Он ведь был сторонником крайнего равенства с первых дней революции. Он возмущенно воскликнул, глядя на новый Париж: «Как? На место одной шайки поставить другую? И это революция?..» А в лице Гракха Бабефа Буонарроти нашел единоверца, друга, вождя.

Кроме Буонарроти, Дартэ, Жермена, у Бабефа много стойких сторонников. С ним давний его покровитель, чудак Сильвен Марешаль, философ и незадачливый драматург. С ним бывший мэр Лиона гражданин Бертран и бывший маркиз Антонель, флегматичный мечтатель, который во время мятежей прогуливается с книжкой по аллеям Тюльери, не замечая выстрелов. С ним отнюдь не мечтательный Диье, судья при Робеспье, человек грубый и прямой. С ним десятки бескорыстных философов и сотни неудачников. К Бабефу идут искренние сторонники равенства, аристократы Буонарроти, Антонель, Лепелетье, богатый буржуа Бертран, журналист Марешаль, к нему идут рабочие, которые еще верят в равенство, последние представители вымирающей расы «санкюлотов». К нему также идут любители переворота, люди, утерявшие свою профессию, сторонники «фонарных судов» и гильотины, авантюристы, говоруны, полупреступники-полубезумцы, все, кого никак не устраивает новый распорядок, все, кто завидует мундиру Барраса и военным поставкам Тальена, бывшие члены Конвента или революционных трибуналов, развращенные и своей властью, и страхом. К Бабефу идут многие. Он пытается разобраться в этой лавине добродетелей и пороков. Иногда ему удается оттолкнуть чью-нибудь чересчур замаранную руку. Так случилось с Фероном. Этот мелкий грабитель и бездарный болтун разобиделся на всех - почему Баррас директор, а он, Ферон, не у дел? От него отвернулись даже его пресловутые «молодчики» - ведь для них он продолжал оставаться «якобинцем». И вот Ферон решил тряхнуть стариной. Он запросился к «бабувистам». В «Обществе Пантеон» двери были раскрыты широко, но перед носом Ферона они все же захлопнулись.

Не всегда, конечно, удается Бабефу и его друзьям отделить истинно «равных» от честолюбцев. Но чистота вождя покрывает все. Рабочий Париж по-прежнему верит своему Трибуну. Это не только вера, это подлинная любовь. В кварталах Антуана и Марсо имя Гракха Бабефа известно теперь каждому ребенку. О нем говорят, как о своем, как о слесаре или о столяре. Над полицейскими посмеиваются: «Что, нашли Бабефа?..» Хозяевам и торговцам суют: «Вот Бабеф вам покажет!..» Пустую похлебку сдабривают надеждой: «Скоро Бабеф выступит!»

До светских салонов доходят слухи о загадочной славе этого журналиста. «Кто он?» - «Кажется, бывший землемер». - «Он кровожаден, как Марат». - «Это вор, совершивший подлог»... Члены «совета пятисот», литераторы, адвокаты, иностранные послы - все недоумеваю: «почему Бабеф?..» Недоумевая, они боятся. Они вовсе не уверены в завтрашнем дне. Конечно, Робеспьеру отрезали голову. Конечно, у рабочих отобрали оружие. Но ведь нельзя же заставить людей забыть о том, что было еще так недавно! Кто может поручиться даже за армию? Говорят, что солдаты тоже стоят за этого непонятного Бабефа...

Так в двух лагерях имя Бабефа становится собирательным, оно растет, оно уже обозначает не только одаренного журналиста или смелого философа, нет, теперь Бабеф - это революция.

Среди тысячи слухов, среди ненависти и любви, среди тяжелой тишины решительного года Бабеф прячется в кельях, в подвалах, на чердаках, всюду, где только можно спрятаться, пишет, убеждает, подбирает сторонников, работает,

работает без устали. Он слаб, он хворает. Он живет как затворник. Он забыл о солнце, о шутках, о детских проказах. Он не может теперь веселиться, даже чтобы бесить тиранов. Постепенно отмирает в нем все сложное, неуверенное, мягкое, человеческое. Он превращается в одну мысль: равенство! Разговаривая с ним, люди чувствуют, что сильнее его слов - сухой, испепеляющий огонь глаз.

Декабрьский день. Густой туман. С утра в богатых лавках «Пале-Эгалите» горят лампы. Но масло дорого, и Париж работает в потемках. Все брюзжат, ругаются. Только полицейским агентам этот туман на руку. Они крадутся по улице Сен-Онорэ, чтобы не привлечь внимания прохожих. Вот в том доме должен сейчас находиться неуловимый Бабеф. По донесениям сыщиков, здесь помещается редакция его газеты.

Но Бабефа охраняют. В комнату, запыхавшись, вбегает мальчик:

- Идут!..

Бабеф в воротах сталкивается с полицейским, он отталкивает его, бежит. За ним гонятся. Полицейские кричат:

- Держите вора!

На углу улицы Революции его останавливает какой-то спекулянт. Бабеф вырывается. Он бежит дальше. Несколько бездельников теперь пополнили ряды полицейских: это уже целая свора. И все они кричат:

- Держите его! Он стянул часы!..

Бабефа снова пытается остановить куча франтиков. Несколько ударов, и дорога свободна. Но силы Бабефа иссякают. Возле монастыря Асонсион несколько человек его схватывают.

- Вор! Стой!

Туман настолько густ, сердце так сильно бьется, что Бабеф не сразу может различить, кто его держит. Он вглядывается. Красные обветренные лица. Запах кожи и пота. Это носильщики с Рынков. Тогда он доверчиво говорит:

- Я не вор! Я - Гракх Бабеф. За мной гонится полиция.

Носильщики сначала недоверчиво прислушиваются: полно, Бабеф ли это?.. Но один говорит:

- Я его видел в клубе. Это Бабеф. Иди сюда, гражданин, мы тебя не выдадим.

Один быстро покрывает Бабефа своей широкой войлочной шляпой, другой толкает его в подворотню. Несколько минут спустя Бабеф, тяжело дыша, рассказывает о происшедшем Дартэ, который приютил друга в бывшем монастыре Асонсион. А носильщики смеются над запыхавшимися полицейскими:

- Что, поймали Бабефа?

Они веселы и горды: сегодня они, носильщики с Рынков, спасли революцию.

## 11

Агенты Центрального бюро не сумели арестовать Бабефа. Однако они были далеко не лодырями, они честно отрабатывали свой хлеб. В их донесениях было немало и практических советов, и философических суждений. Так, например, сынщик Май писал: «Необходимо оставлять часовых возле эшафота, чтобы на него не взирались маленькие дети. Это нарушает порядок и противно принципам человеколюбия». Сыщик Астье был человеком более трезвым. Он знал, что Директория объявила принудительный заем. Ну раз насильно просят взаймы - это уж последнее дело, и Асье доносил: «Вчера некто Гуро, проживающий на улице Катрин в доме № 62, находясь в кафе, что на улице Мартэн, хвастался, будто он съел обед, который стоил восемьдесят тысяч ливров. Этот гражданин взят мною под надзор, и ему будет предложено дополнительно записаться на заем»... Граждане директоры могли спокойно спать за спиной таких остроумных агентов. Но, увы, и здесь не было постоянства. Сыщики ежедневно доносили о различных забастовках: рабочие не хотели брать ни ассигнаций, ни новых бумажек,

названных «мандатами». В один злосчастный день донесений не поступило. Дети могли свободно играть на эшафоте, а спекулянты проедать в один присест хоть миллионы: сыщики забастовали. Чем они хуже других? Они требовали вместо бумаги традиционных сребренников.

Трудно Директории на кого бы то ни было положиться. Швейцарам выданы чудесные костюмы. На них черные плащи, пунцовые тоги, даже ноги их украшены трехцветными бантами. Кажется, чего бы им бунтовать? Но вот гражданин Леревельер, прерывая доклад о дипломатических успехах республики, испуганно визжит:

- Необходимо тотчас отослать всех швейцаров! Я получил донесение: они сочувствуют Бабефу. Они могут нас убить.

С Питта разговор переходит на мировоззрение швейцаров. Здесь все хотят высказаться. Это куда занятнее, да и важнее, нежели мирные переговоры. Питт далеко, а швейцары пока что могут взять и укокошить...

**Во главе Директории - гражданин Баррас.** У него рыхлое добродушное лицо. Один из заподозренных швейцаров видел гражданина Барраса в ванне и уверяет, что принял директора за женщину. Но ведь этот швейцар вообще неблагонадежен. Так или иначе на заседаниях Директории пол гражданина Барраса бесспорен: прежде всего, на нем нанковые панталоны. На нем также пестрые чулки, сапоги с желтыми отворотами, голубой фрак с восьмиугольными пуговицами, огромный белый галстук и зеленые перчатки. Важно блестит золотая шпага. На коленях большая шляпа с галунами. Гражданин Баррас воистину самый великолепный мужчина республики. Он галантен, ленив и томен - ведь он как-никак бывший виконт. У него нет никаких идей, зато он страстный охотник, великолепный рассказчик анекдотов и неотразимый ловелас. Революция для него - клад, неожиданное наследство, крупный выигрыш. Гражданин Баррас сорвал банк.

Вначале его затирал Робеспьер. Этот педант сам не умел жить и другим не давал. Баррас, однако, погулял с Фрероном на юге. Злые языки определяют тулонскую добычу директора в восемьсот тысяч ливров золотом. Скорей всего, это преувеличено: Баррасу приходится теперь подрабатывать, благо что Робеспьера больше нет. В его салоне спекулянты с расфуфыренными крикливыми женами, посредники, банкиры, вся новая знать Франции. Они играют в вист или в двадцать одно. Карты, разумеется, свидетельствуют о революционности места: короли в треуголках, дамы в фригийских колпаках... Поставщики неизменно проигрывают Баррасу: хотят получить поставки. Виконт любит аристократов. Он окружен титулованными проходимцами. Но что делать - ему приходится терпеть и грубые манеры спекулянтов: без денег не проживешь, а он за годы революции привык жить на широкую ногу.

Больше всего на свете он любил женщин, вернее, не самих женщин, но свои над ними победы. Вот и сейчас во время заседания, пока Карно, стуча кулаками по столу, кричит что-то о фортификациях, Баррас, самодовольно жмурясь, как раскормленный кот, шепчет Рейбелю:

- Я хочу выдать Розу Богарне за этого корсиканца. Он нам может быть очень полезен. Но когда я сказал ей о моих планах, она начала плакать: «Как можно жить с другим, узнав любовь Барраса?..» Она, кстати, была очень мила, раскрасневшись. Но мне она порядком надоела...

Вдове Богарне Баррас сейчас предпочитает молоденькую Терезу. Она - богиня Парижа, и тщеславный Баррас горд но вой связью. Тальену пришлось примириться. Баррас за это ему помогает в военных поставках. Тереза делит свои дни и ночи между буколической «хижиной» и Люксембургским дворцом

Баррас тщеславен не только в любви. Краснея от чванства, он жаждет показать всем: директорам, министрам, швейцарам, послам, торговкам, даже статуям: «Я - Баррас. Я - первый из пяти. Я - все. Без меня нет ни революции, ни Франции». По его настояниям военное судно в Тулоне окрещено «Баррас». В тщеславии сказывается его порода: он прежде всего - провинциал. Для него сплетни о швейцарах - вопрос государственной важности, а о финансах республики он судит, как о долгах своей покойной тетушки: вот тому бы не отдать, да из этого бы вытянуть немножко... Он притом южанин, провансальец. Об этом говорит запах - полный грации виконт смущает прелестниц ароматом: он обожает чеснок. Об этом говорят и чересчур бесцеремонные анекдоты, и хвастовство, и болтливость.

Узнав о необычайных государственных успехах Барраса, из Прованса понаехала в Париж его родня. Жену свою он, конечно, оставил дома, в Фоксе, она бы ему только мешала. Зато приехали тети, дяди, кузины. Запах чеснока наполнил сразу весь дворец. Стоит показаться юноше с локонами или подрядчику без своей половины, как дамы его облепляют: авось холостой! Кузина Барраса госпожа де Монпери ищет жениха для своей перезрелой дочки Клементины, черной, потной и лоснящейся, как маслина.

Рейбель делит с Баррасом если не дам, то подрядчиков. Это человек деловой, и красавицы его мало занимают. К вопросам высокой политики он тоже равнодушен. Он - отец семейства и копит на черный день. Кутит за него его восемнадцатилетний сын, щеголь и лодысь. О проказах директорского сыника ходят по городу легенды: он купает красоток в вине, берет на прицел бронзовых нимф и что ни день заказывает новые жилеты. Парижане уверяют, что так не жил даже дофин.

Перевельер однажды уж обижен судьбой - он горбун. Кроме того, его обидела и революция: он должен был вместе с другими жирондистами скрываться. В те времена и Карно и Баррас были у власти. Теперь они живут с ним вместе во дворце. Но Перевельер не забыл прежних обид. Он всегда раздражен. Он похож на злую обезьяну в парадном мундире. Он любит рассуждать о новой религии - «теофилантропии». Что же ему еще делать? Разозлит Барраса так, что тот, хлопнув дверью, выбежит из комнаты, заставит Карно густо покраснеть от гнева. Потом пойдет гулять среди клумб и, пугая своим уродством кузин Барраса, доказывает сочувствующим приживалкам, что религию необходимо рационализировать.

Баррас не боится ни его, ни Летурнера, который самодоволен, толст и туп. Конечно, Летурнер приспешник Карно, но он не способен повредить Баррасу. Он вспыльчив, кричит на заседаниях, высказывается прежде всех. Однако его глупость настолько очевидна, что над ним посмеиваются даже кучера, не говоря уж о подозрительных швейцарах.

Нет, настоящий враг Барраса это Карно. У Карно нет ни хитрости виконта, ни его изящества: он грубоват. Он никого не очаровывает. Зато он не знает колебаний. При Робеспье он был крайним якобинцем, членом Комитета общественного спасения. Баррас его зовет «убийцей Дантона», а для Перевельера Карно - палач, от которого он, Перевельер, случайно спасся. Все это так, однако сейчас Карно - сторонник порядка. Его товарищи топчутся на месте. Он неуклюже, грузно ступает вперед. Он убежден, что революция кончилась. Надо ликвидировать ее своими силами, не то этим займутся роялисты. Он не политик, он скорей солдат. Он не вождь, у него слишком пошлое лицо: одутловатые, бледные щеки, тусклый взгляд, голый череп. Притом у него слишком трезвая голова, он не фанатик, не игрок, не авантюрист. Он просто честный, небольшой администратор среди грандиозных событий и нечистых на руку людей. Его никто

никто не любит. Для патриотов он - предатель. Для роялистов - убийца. Для Франции - посредственный полицейский с добрыми намерениями и с большущей лысиной.

Таковы люди, которые правят Францией. Они приехали в Люксембургский дворец под охраной сотни лихих кавалеристов и тотчас начали заседать. Для заседания нужны, однако, стол, стулья. Во дворце побывала революция, и дворец был пуст. С трудом директоры раздобыли колченогий стол. Сторож скрепя сердце одолжил им несколько полен. Он боялся: вот выкинут их отсюда завтра - плакали мои дрова!.. Слуги просили для верности жалованье вперед.

Директоры, однако, не растерялись. Если им не удалось восстановить Францию, то всю роскошь Люксембургского дворца они восстановили.

О Франции Баррас, этот герой Тулона, любит говорить наставительно:

- Восстановить гораздо труднее, чем разрушить... С ним, конечно, все соглашаются. Что касается дворца, то тут Баррас призывает к республиканской скромности:

- Будем спартанцами! Я предлагаю на первое время ограничиться пятьюдесятью упряжками и двадцатью каретами.

Сегодня они о многом переговорили: о финансах, о швейцарах, о голоде, о каретах. Они постановили преподнести в подарок Генуэзской республике трехцветное знамя. Теперь им предстоит тяжелая работа. Леревельер передает: вчера на улице Сен можно было видеть аббата в сутане, причем это не был актер, игравший «Тартюфа», но настоящий живой аббат. Пренебрегая всеми декретами, он нагло разгуливал в церковном облачении. Этого мало, все церкви снова переполнены, лавки в воскресенье закрыты, а в декади торгуют. Всем известно, что парижане праздновали новый год в нивозе, они даже открыто целовались на улицах. Директория постановляет: усилить надзор, чтобы в декади никто не смел торговать.

Барраса волнует другой вопрос: о песнях. Директория приказала всем театрам ежевечерне исполнять патриотические песни. Публика сопротивляется. Это интриги роялистов. Одни уходят в фойе, другие громко зевают, третьи свистят, а когда их арестовывают, уверяют, будто они свистели не песням, но певцам, те, мол, фальшивили. Особенно строптивы завсегдатаи театра «Фейдо» - там, что ни вечер, скандал. Публика кричит: «Мы деньги платим за пьесу, а не за песни. Довольно горланить! Надоело!» Директория постановляет: усилить надзор.

Самый неприятный вопрос припасен напоследок. Министр полиции сообщает, что «Общество Пантеон» принял явный антиправительственный характер. Там собираются все подозрительные граждане Парижа. Они читают вслух листок Бабефа и поносят Директорию. С каждым днем число посетителей увеличивается. Когда один из членов, тайный агент, предложил составить новую петицию Директории, его чуть не избили. Эти якобинцы кричали: «Теперь нужны ружья, а не петиции!» Установлено, что во главе «Пантеона» не кто иной, как Бабеф. Министр полиции настаивает на закрытии общества.

Карно горячится: это не аббаты и не песни, вот где опасность - Бабеф! Он рубит сплеча:

- Арестовать вожаков.

Баррас смущен такой настойчивостью. Легко сказать «арестовать», это ведь значит объявить войну. А вдруг они сильнее Директории? Баррас предпочитает выждать. Карно упорствует:

- Пора покончить с ними! Вы их во всем покрываете. Кто разрешил Пошолю приехать в Париж? Ведь он же был монтаньяром.

Рейбель усмехается:

- А ты, Карно? Кем ты был? Отвечай-ка!..

Молчание. Напоминание о прошлом здесь смущает всех. Выручает шутка:

- Впрочем, не будь монтаньяров, разве мы сидели бы здесь, в Люксембургском дворце?

Поспорив, все уступают. Решено: закрыть «Пантеон», но никого не арестовывать. Баррас вдруг вспоминает - необходимо равновесие!

- Чтобы смягчить, мы одновременно закроем хоть на недельку театр «Фейдо», ну и какую-нибудь маленькую церквушку, например Сен-Андрэ,

Довольный своей находчивостью, он уже улыбается, не думая ни о террористах, ни о Бабефе, ни о прошлом. Сейчас его ждет в саду Тереза. А завтра? Завтра охота на кабанов в Ренси...

Карно, однако, не столь легкомыслен. Он обсуждает закрытие клуба, как итальянскую кампанию. Какому генералу поручить столь рискованную операцию? Ведь говорят, что с «бабувистами» чуть ли не весь Париж. Летурнер подозревает командующего внутренней армией, он, кажется, симпатизирует анархистам. Конечно, в венденье он отличился, но тогда ведь были роялисты, а теперь ему придется разгонять своих приятелей.

Баррас всех успокаивает: молодой генерал его ставленник, он отнюдь не анархист, он исполнителен и предан. У него нет никаких суждений. Это скромный юноша, лишенный амбиций.

- За Буонапарте я ручаюсь.

Граждане директоры расходятся. Леретьео идет рассуждать о бои, Рейбель договариваться с подрядчиками - сколько кому. А Баррас, кокетливо улыбаясь, говорит Терезе:

- Мне кажется, что скоро я буду единственным главой Франции...

Но Тереза сегодня не в духе - портные требуют денег, а разина Тальен вечно на мели. Тереза сухо отвечает:

- Не думаю. Для этого вы слишком трусливы...

Так легко и поссориться! Но по аллее идет небольшой, поджарый человек. Он снимает шляпу, учтиво кланяется. Баррас покровительственно ему говорит:

- Надо расставить пушки... Имеются ли запасы пороха? И не забудь смотри о барабанах. В случае опасности я сам приду к тебе на помощь.

В глазах Буонапарте вспыхивают насмешливые искры. Но он снова кланяется и говорит:

- Гражданин директор, ваш приказ будет немедленно и беспрекословно исполнен.

Тереза с любопытством прислушивается, а когда Буонапарте уходит, задумчиво говорит:

- Кажется, я прогадала. Роза куда хитрее меня...<sup>32</sup>

## 12

Генерал Наполеоне Буонапарте привел войска, расставил пушки и приготовился к сражению. Он защитил свой тыл. Он ведь не знал, где неприятель. Этого, впрочем, никто не знал. Говорили, что анархисты всесильны, что против Директории - Париж. Напрасно, однако, генерал поставил на ноги столько эскадронов. Как всегда, гудели хвосты у булочных, ругались водовозы и к небу, вместе с легкой дымкой (зима еще держалась), подымались вздохи: «Доколе?» Было тихо, буднично. Ржали лошади драгун, солдаты пересмеивались. Порой рабочие кричали им: «Лучше бы вы шли на фронт, чем здесь давить людей!..»

Генерал Буонапарте, наклонив голову, шагом, быстрым и, пожалуй, чересчур крупным для его сложения, подошел к воротам бывшей церкви, где помещалось

<sup>32</sup> Наполеон Бонапарт (15.08.1769 – 5.05.1821): <http://vive-liberta.narod.ru/ref/ref3.htm#bonp>.

Мари Жозефа Роз Таше де Ла Пажери, в замужестве Богарне, второй раз - Бонапарт (23.06.1763 – 29.05.1814): [http://enlightment2005.narod.ru/arc/jos\\_gsrp.pdf](http://enlightment2005.narod.ru/arc/jos_gsrp.pdf).

«Общество Патеон». Пушкари ждали сигнала. Но сторож безропотно вручил генералу ключи от помещения, огромные церковные ключи, похожие да старые трофеи. Буонапарте, еще не привыкший брать города, усмехнулся, а застоявшиеся кони весело ринулись вперед. Их цокот оповестил парижан, равнодушных ко всем событиям мира, о новой победе «генерала-вендемьера».

Еще недавно он был героем патриотов: «Он спас республику и революцию». Якобинцы говорили: «Буонапарте наш». Они вспоминали штурм Тулона и зажигательные речи молодого патриота. Даже «равные» сочувственно поддакивали: «Это не Мену!» Он, конечно, молод и ветрен, но он поборник равенства, недаром он был другом Робеспьера-младшего. Он думает не только о военных подвигах, но также об устройении общества. В 91-м этот пылкий корсиканец публично говорил: «Пусть гражданские законы обеспечат каждому необходимое! Пусть жажда богатства сменится народным благоденствием!»

Буонапарте не отвергал подобных восхвалений. Он только начинал игру. Первый ход удался. Что позади? Мечтания, нищета и одиночество, книги, выстрелы, примеры героев древности, географические карты. О чем только он не мечтал до вендемьера! «Хорошо бы уехать в Турцию и поступить там к султану на службу»... Он был настолько беден, что после вендемьера, когда его приветствовал Конвент, сконфуженно мялся - как со штатами?.. На нем были замшевые штаны его приятеля Тальмы.

«Вендемьеर» многое определил - в этот день корсиканец связал свою судьбу с судьбою Франции. К черту султана! На восток?.. Да, когда-нибудь, но не наемным кондотьером - завоевателем.

«Вендемьеर» был случаем, он стал обдуманным дебютом сложной партии. Надо всех в себя влюбить. После «патриотов» - «умеренных», то есть аристократов, франтов, завсегдатаев «Маленьского Кобленца», богатых негоциантов, подрядчиков, недоверчивого Карно, знать, капитал, всех, кто трепещет при имени Бабефа. Гремя тюремными ключами, Буонапарте радуется: и второй ход верен. Ему не пришлось стрелять в патриотов. Он только повиновался. Ненависть народа падет на Директорию, не на него. Зато сегодня он - герой друзей порядка. Он точно и молниеносно выполнил приказ. Те, что называли его «анаრхистом», прикусят языки. Нет, он не с партиями, он с нацией!

Как и Баррас, Буонапарте старается никого не раздражать, он ждет, пока враждующие армии не перебьют друг друга. Между генералом и директором различие только в калиbre: один - пример одаренности человеческой природы, другой - ее ничтожества.

Сообщив директорам о закрытии «Пантеона», Буонапарте быстро откланялся: он спешил. Баррас игриво подмигнул: «Любовь не терпит». Виконт ведь только и думал, что о бабах. Буонапарте думал о славе. Жозефина Богарне, которую дотоле звали Розой, была для него не богиней, не пастушкой, не куртизанкой, но очередным ходом, третьим «Вендемьером». Вдоволь наблюдательный, он хорошо знал свое время. Он говорил: «В Париже ничего нельзя добиться без женщин». Он говорил это скорее с досадой, нежели с улыбкой. Женщинам он предпочитал историю Рима или атлас. От природы скромный и скрытный, он плохо себя чувствовал в салонах Директории. Но что ж тут было делать?.. Полководец, встречая реку, назад не поворачивает, а ищет брода.

Роза или Жозефина Богарне не молода. Если ее красоту сравнивают с розой, то не с бутоном, а с крупной расцветшей розой. Ее возраст несколько смущает Буонапарте: дело не в красоте, - в насмешках. Невеста старше жениха на шесть лет. Он даже берет бумаги брата, чтобы постареть хоть на полтора года.

Жозефина обыкновенная женщина своей эпохи. Ее мужу отрезали голову на гильотине. Она случайно уцелела. Следовательно, ей хочется жить вдвойне.

Подруга Терезы Тальен, она носит те же парики и те же туники. Она не привередничает в выборе любовников. Правда, директор Баррас или генерал Гош знамениты, но тому же Гошу она при первом удобном случае изменяет с его конюхом Ванакром.

Занятый иным, Буонапарте не слушает сплетен. Выбрав Жозефину, он сразу одаряет ее всеми добродетелями. Он женится не на любовнице конюха и конюхов, но на целомудренной аристократке.

Дело, однако, не в целомудрии, не в красоте, даже не в богатстве. Брак с госпожой де Богарне новый ход игрока. Он примиряет простого корсиканца, подозрительного якобинца с кварталом Сен-Жермен, с аристократией Франции. Буонапарте, если угодно, влюблен, даже счастлив. Но среди букалических объятий вздохи быстро сменяются плеском знамен, а любовные признания гулом толп, цокотом парадов, ревом победы. Это происходит в особняке Тальмы: Буопапарте купил у своего приятеля, который недавно развелся, дом, где некогда бывали Андре Шенье и Кондорсэ, дом с колоннами, с лирами, с орлами. Он глядит на Жозефину. Он глядит и на орлов.

Буонапарте обвенчался через десять дней после похода на «Пантеон». Свадебный подарок Барраса был великолепен. Он щедро наградил «скромного генерала, лишенного амбиций», и нежного супруга Жозефины - любовницы Барраса. После некоторых колебаний Директория одобрила приказ о назначении Буопапарте главнокомандующим всеми армиями в Италии. Карно поспорил: «Как можно доверить столь ответственный пост молодому генералу, который отличился в мелких уличных боях?» Карно боялся, что Буонапарте - ставленник Барраса и скрытый якобинец. Но якобинцы еще страшнее под боком, и Карно уступил.

Буонапарте торопится. Он едет завоевывать Италию. Он едет завоевывать и Францию. Он готовится к своей судьбе. Сегодня умер «Наполеоне Буонапарте». Чужестранное имя не подходит для национального героя. Он знает, что завтра вся Франция будет его приветствовать виватами. Вот и «Жозефина» звучит гораздо достойней, нежели глупая «Роза». Пусть завтра они кричат: «Да здравствует Наполеон Бонапарт!..»

### 13

Уезжая в поход, Бонапарт заботился не только о транскрипции своей фамилии. Он знал, что республиканские армии побеждают не пушками. Париж слал солдат и порох. Бонапарт решил вывести из Парижа нечто другое - революцию.

Друг Бабефа Филипп Буонарроти получил приглашение явиться в министерство иностранных дел. После закрытия «Пантеона» он ждал со дня на день приказа об аресте. Его вызывала, однако, не полиция, а гражданин Делакруа по настоянию генерала Бонапарта.

Буонапарте знал Буонарроти по Корсике. Он ценил его доблесть, знания, ум. Притом он не пренебрегал ничьей помощью. Если «равные» могут быть ему полезны, надо разговаривать с «равными». Революция во Франции закончилась.

Это ясно. У патриотов может быть благородное сердце, но у них на плечах нет головы. Вот он закрыл «Пантеон». Он ждал сопротивления, боев, может быть - победы якобинцев. Париж смолчал. У рабочих больше нет ни оружия, ни огня. Оружие еще можно раздобыть, но сердце Парижа перегорело. Здесь могут быть теперь десятки заговоров, бунтов, но революции здесь больше не будет, по меньшей мере полвека, пока не вымрет поколение, видавшее своими глазами террор и голод. Зачем раздражать патриотов - они не опасны. Нужно круто править. Пять болтунов вряд ли на это способны. Что же, Бонапарту остается ждать. У него теперь

**другая цель: победные реляции, любовь армий, страх Европы. Революция - ценный товар: ее надлежит вывозить за границу.** Конечно, идеи Бабефа - бред. Он, Бонапарт, мог говорить о равенстве в 91-м. Тогда ему было двадцать два года, а революции - всего два. Теперь он смеется над «всеобщим благоденствием». Однако Бабеф и его друзья полны воодушевления. Во Франции их, может быть, и следует арестовать, но у кого же искать революционного огня для Италии - не у Барраса!..

Генерал Бонапарт предложил министру Директории срочно снестись с гражданином Буонарроти и попросить содействия «анархистов».

Необычайное свидание состоялось. Делакруа был по природе высокомерен и груб. Буонарроти ему казался заговорщиком, которого не сегодня-завтра засадят в острог. Однако он пытался говорить с этим анархистом вежливо, почти как с иностранным посланником. Таковы были инструкции Бонапарта.<sup>33</sup>

- Итак, гражданин Буонарроти, мы рассчитываем на поддержку ваших итальянских единомышленников. Буонарроти недоверчив:

- Я попрошу вас, гражданин министр, ответить мне, могут ли патриоты Италии рассчитывать на вашу помощь?

Делакруа в душе смеется: святая простота! Он-то знает намерения и Директории и Бонапарта. Надо выгнать из Италии австрийцев и усилить короля Ломбардии. Отвечает он уклончиво:

- Задача итальянских патриотов - облегчить нашим армиям вторжение в Италию.

- Зачем? Чтобы вы потом их предали, как здесь вы предали патриотов Франции? Делакруа морщится:

- О внутренних делах мы не станем спорить - не это предмет нашего свидания. Что касается итальянских патриотов, то мы их отнюдь не предадим. Если республика победит, она при мирных переговорах примет все меры, дабы охранить личные интересы итальянских патриотов.

Здесь Буонарроти теряет спокойствие.

- Суть не в личных интересах. У патриотов личных интересов нет. Мы хотим знать, во имя чего вы воюете? Хотите ль вы республики в Италии или военной добычи? В Италии все готово. В Генуе патриоты ждут сигнала. В Сицилии десять тысяч наших томятся в тюрьмах. Там что ни день льется кровь героев. Как только покажется у берегов французский флот, вся Сицилия восстанет. В Тоскане брожение, то же и в Венеции. Патриоты Пьемонта уж неоднократно пробовали восставать. У них, однако, нет оружия. Если мы придем как освободители, вся Италия будет с нами.

- Мы против выступлений в Пьемонте. Надо подчинить все поступки патриотов дипломатическому плану. Я прошу вас, гражданин Буонарроти, представить мне докладную записку о всех необходимых мероприятиях. Я ознакомлю с ней генерала Бонапарта.

- Но нам нужны гарантии! Если солдаты снова будут грабить, если вы снова отадите страну под власть военных самодуров, вы оттолкнете от республики весь итальянский народ. Вы рискуете тогда военным разгромом, гибелью патриотов. Лозунгом республиканских армий должно быть: «Мир хижинам, война дворцам!»

Гражданин Делакруа вместо ответа приподымается: аудиенция закончена. Ему надоело слушать этот нелепый бред. Итак, он ожидает письменного донесения.

<sup>33</sup> Шарль Делакруа, или де Ла Круа де Касти (1756-1842), депутат Национального конвента, министр внешних сношений Франции при Исполнительной дирекции. Жан-Франсуа Делакруа, тоже депутат Конвента, соратник Дантоне, - однофамилец.

Буонарроти вечером говорит Бабефу:

- Труден только почин. После Франции что им стоит предать Италию?..

Бонапарт перед отъездом внимательно прочел объемистую записку Буонарроти. Два месяца спустя он слушал в Милане речи местных якобинцев: «Мы здесь воплотим великие идеи 93-го! Мы установим подлинное равенство!» Он одобрительно кивал головой. Он знал, что, когда настанет время, можно выдать этик говорунов полиции, папе, королю, кому угодно. Сейчас они полезны. Надо пользоваться всем. Чем эти фантазеры хуже госпожи де Богарне?..

## 14

Закрытие «Пантеона» рассеяло «равных» по всему Парижу. Они собираются теперь в саду Тюльери, в кафе, принадлежащих добрым патриотам, как-то: в кафе Кретьена, Паи и Ковэна. Однако их генеральный штаб - в «Китайских банях». Это нелепое сооружение на углу Итальянского бульвара и улицы Мишодьер, в двух шагах от «Маленького Кобленца». Провинциалы разевают рты, глядя на фасад, покрытый лысыми божками, зонтиками, звоночками и непонятными иероглифами. В эпоху увлечения «китайщиной» здесь помещались модные бани. Потом держатель бани прогорел, и в начале революции здесь открылось кафе. Его-то облюбовали патриоты. Трудно понять почему. Большие окна позволяют зевакам наблюдать за всем, что происходит внутри. Причудливость постройки привлекает общее внимание. Итальянский бульвар прославлен дерзостью роялистов и спекулянтов. Рядом с «баниями» - модная лавка: днем и ночью толпятся франтики, разглядывая выставленные в окне галстуки и перчатки. Заговорщики собираются у всех на виду. Может быть, им нравится хозяин кафе, он ведь числится завзятым патриотом, а заговорщики не знают, что этот патриот - тайный агент полиции.

В «Китайских банях» всегда людно и шумно. Возле большой печки спорят, что важнее: восстановление конституции 93-го или полная отмена наследств. Друзья Бабефа - Дартэ, Жермен, Диье вербуют патриотов. Здесь выслушиваются рапорты и отдаются приказания. Колеблющихся уговаривают, новичкам объясняют, что за люди «равные». Шуршат листовки. Когда заходит какой-нибудь случайный посетитель, сразу все замолкают. Иногда в кафе врываются роялисты, происходят стычки. Как-то озорники выбили все стекла.

Рыжеволосая рослая девушка по имени Софи Ланье исполняет новые песни «равных».<sup>34</sup> Сочиняет их, конечно, все тот же Сильвен Марешаль. У Софи не бывает какого голос, зато поет она с чувством. Она поет «Новую песню для предместий»: «От голода, холода мрет обманутый вами народ. А богач, он живет припеваючи...» Здесь посетители, вдоволь угрюмые, едва согретые жидким кофе и смутной надеждой, невольно смотрят сквозь окна на «бозественных» прелестниц и на «невегоятных» щеголей. Софи же поет о «новых богачах, разжиревших на беде народа», и о голоде, о черном голоде предместий: «Под мостом он разут и раздет, он железо жует на обед. Жуй железо, герой революции!..» Все подхватывают: «жуй железо»... Многие давненько не нюхали мяса, и голод прежде, чем гнев, разжег эти глаза. Софи вспоминает: «Их народ в доброте пощадил...» Ах, фонари покойного Камилла! Ах, гастроли гражданина Сансона на площади Революции! Скольких тогда они прозевали! Но теперь дудки - теперь никто живьем не уйдет! Они поумнели. Грозно сжимаются кулаки. Пение переходит в рев, и завсегдатаи «Маленького Кобленца», проходящие мимо «Бань», пугливо переглядываются. Они вспоминают те же дни, тот же фонарь, ту же бурю густую кровь. Они даже забывают о хороших манерах и, больше не картаю, вскрикивают:

Илья Эренбург

<sup>34</sup> См.: Г.Кунов, «Политические кофейни: парижские силуэты времена «Великой французской революции» ([http://vive-liberta.narod.ru/biblio/kunow\\_caffe.pdf](http://vive-liberta.narod.ru/biblio/kunow_caffe.pdf)). Имя певицы – Софи Лапьер (Lapierre)- почему-то указано у Эренбурга ошибочно.

- Анархисты! Террористы!

А рабочие, разорившиеся писцы или стряпчие, портные, уличные девки, носильщики продолжают горько горланить.

Иногда Софи исполняет другие куплеты, все того же Марешаля, для глубокомысленных патриотов, которые даже в песнях любят философические максимы: «О, благодетельная мать-природа, ты равными нас родила!..» Это «гимн равных». В «Китайских банях» много поют. Порой собрания заговорщиков напоминают уроки пения. Патриоты разносят песни по всему Парижу: их повторяют в мастерских, в темных дворах Сен-Антуана, в тюрьмах, в казармах. Гражданка Софи Ланье недаром трудится: чтобы поднять Париж, мало идей Бабефа, для этого нужны также песни; без песен в Париже не бывает ни любви, ни хорошей драки, ни революции.

«Равные», конечно, не только пели. За один месяц они выпустили кипы листовок: «Правда народу», «Солдат, стой и читай», «Слово к патриотам», «Трибун народа внутренней армии». Эти листки переходили из рук в руки. Можно сказать, что весь грамотный Париж их читал. Печатали их тайно, и полиции никак не удавалось напасть на типографию «равных». Газета Бабефа также продолжала выходить. У «равных» не было денег, а следовательно, и бумаги. «Трибун народа» печатался всего в количестве трех тысяч экземпляров. Но «Трибун народа» доходил даже до итальянской армии, где солдаты ожидали его с нетерпением. Ночью патриоты покрывали возвзваниями стены Парижа.

Полдень. Квартал Антуана. Возле стены толпится народ. Мастеровой громко, отчетливо, как учитель, читает: «Разбор доктрины Бабефа, преследуемого Директорией за правду. Поскольку один изнемогает, работая, а другой бездельничает, обладая всем в избытке, существует насилие. Никто не мог вне преступления присвоить себе землю или мастерские. В подлинном обществе не должно быть ни богатых, ни бедных». Кто-то сзади насмешливо вздыхает:

- Поздно вспомнили! Сколько негодяев нажилось на этой революции, а теперь-то они говорят: «Революция кончилась»...

Мастеровой продолжает читать: «Революция не кончилась, ибо богатые присвоили себе все блага и власть, в то время как бедные трудятся, подобно рабам, изнывая и никак не участвуя в управлении государством».

Среди толпы один гражданин явно не согласен с доктриной Бабефа. Он что-то бормочет под нос. Наконец он не выдерживает:

- Это кровопийцы! Они снова хотят нас душить.

Но Сен-Антуан - не «Пале-Эгалите».

- Долой шуана! Гоните роялиста!

Вмешивается агент полиции - конечно же, тайный агент тут как тут. Крики, ругань, кулаки. Шляпы с кокардами и без кокард летят на землю. Наконец арестовывают обоих: того, кто читал, и «шуана». Баррас еще лавирует, но администратор районной полиции уже пристал к берегу - не колеблясь, он тотчас выпускает хорошо одетого гражданина, а «террориста» отсылает в тюрьму.

То же самое происходит и в других кварталах. Тайные агенты теперь повсюду слышат одно слово: «восстание». Возле моста Шанж и на площади Грев ежедневно собираются толпы безработных. Они требуют «хлеба», «равенства», «конституции 93-го года». Их разгоняют отряды кавалеристов. А голод все растет. Новые деньги «мандаты» падают с такой же стремительностью, как и ассигнации. Крестьяне не везут в Париж ни мяса, ни муки. Их трудно теперь чем-нибудь соблазнить: в деревенских домишках рядом с корытом - секретер из палисандрового дерева, гуси ходят по гобеленам и ребятишки бьют севрский фарфор. Безработица стала повальной: хозяева закрывают мастерские. Они уверяют, что принудительный заем разорил их. Роялисты с каждым днем

смелеют. Они показываются в шляпах с королевскими лилиями. Они громко восхваляют успехи неприятельских армий. С первыми весенними днями Булонский лес наполнился щелканьем бичей, смехом прелестниц, цокотом лихих наездников. Один чудак вздумал сегодня сосчитать, сколько там модных кабриолетов, но, перевалив за тысячу, сбылся.

На площади Грев блещут сабли драгун, летят камни. У всех только один вопрос:

- Начинается?..

Среди двух сделок и среди двух танцев люди гадают: когда же он выступит?..

Гракх Бабеф пишет день и ночь. Он подсчитывает силы. Он готовится. Какая непосильная работа взвалена на плечи этого хилого человека! Он должен воодушевлять и организовывать, подсказывать уличной толпе внятные ей слова мести или зависти и обдумывать устроение нового общества, чтобы не сплоховать на следующий день после победы.

Бабеф скрывался у бельгийского патриота Клерка, в маленькой квартире возле Алль-о-Бле. Там происходили и заседания главарей. Они называли себя «Тайной дирекtorией». Кроме Бабефа, в эту Дирекtorию входили: Буонарроти, Дартэ, Жермен, Лепелетье, Сильвен Марешаль.

Нередко происходили горячие споры: трудно было объединить столь различных людей. Марешалю поручили написать «Манифест равных».

Написал он совсем не плохо, так что, слушая его, Буонарроти в воодушевлении прерывает чтеца возгласами: «Прекрасно! Браво!» Но «Манифест» вызывает пререкания. Почитатель Руссо пишет: «Пусть погибнут все искусства, лишь бы осталось подлинное равенство». Это, конечно, согласуется с идеалом «равных», с любовью к природе и к простой жизни, однако Бабеф выступает против:

- Искусства могут быть полезны народу. Надо отличать забавы пресыщенных людей от здоровых потребностей граждан. Я отнюдь не враг машин. Ты думаешь, что машины приведут к еще большему рабству, и хочешь их уничтожить, нет, машины, правильно использованные, облегчат труд человека. Я бы поощрял новые изобретения.

- Зачем? Греки не знали машин, однако они были куда счастливей наших современников. Взгляни на искусства: кому нужны портреты аристократов или дворцы Версаля?

- Дворцы, пожалуй, пригодятся... А ты? Ты ведь пишешь стихи! Говорят, художник Давид совместно с Робеспьером предполагали перепланировать Париж. Давид высказывался за

прямые проспекты. Я вижу новую архитектуру нашей республики - дома просты, чисты, удобны. В них красота единобразия, полной симметрии. Общественные здания великолепны - это школы, народные дома для собраний, мастерские, библиотеки, музеи. Чтобы их воздвигнуть, необходимы искусства, без них мы уподобимся варварам. Здесь угрюмый Дартэ вставляет:

- Однако следует наблюдать за изобретателями, учеными и художниками, чтобы они мысленно не блуждали среди воображаемого мира.

Бабеф продолжает:

- А одежда? Как неуклюж наш костюм! Он мало приспособлен для работы, к тому же он выражает идею неравенства. Нам придется утвердить единую для всех граждан одежду. Конечно, допустимы некоторые отступления в связи с возрастом и с ремеслом.

Антонель, флегматичный Антонель прерывает Бабефа:

- Давид и Тальма уже пробовали, Давид сделал новый костюм, а Тальма в нем вздумал прогуляться. Его сначала приняли за сумасшедшего, а потом арестовали, как иностранного шпиона.

Все смеются.

- Это отсталость граждан. Необходимо их перевоспитать. Я видел проект рабочей одежды, выполненный депутатом Сержаном, - мне он показался удачным. Нельзя же отрицать искусства или механику оттого, что теперь ими пользуются аристократы и богачи!

Хоть Сильвен Марешаль и пописывает элегии, он твердо стоит на своем: ни машин, ни искусств - все это наваждение города.

Еще больше споров вызывает другой абзац «Манифеста»: «пусть исчезнет, наконец, возмутительное различие между правителями и управляемыми».

- Ты требуешь отмены всякой власти - это недопустимо.

«Равных» называют «анаархистами», однако они сторонники твердой власти. Только Марешаль за полную свободу:

- Чем палка в наших руках лучше палки Барраса? Мы всех перевидали - от Капета до Лежандра - все друг друга стоят. Суть не в людях, даже не в законах, суть в принципе: власть развращает самых добродетельных людей.

Марешалю не удалось переубедить товарищей. «Манифест» так и не был опубликован.

В другой раз разногласия вызвал вопрос о диктатуре. Кто должен править Францией после переворота: Конвент? Диктатор? Комитет, составленный из «равных»? Все признавали необходимость твердой власти. Буонарроти уверял: «Если мы уважаем парод, который еще несознателен, - мы должны прибегнуть к диктатуре». Дартэ стоял за единоличную власть. Бабеф, которому когда-то претила идея диктатуры, сохранил отвращение к этому слову. Решили установить власть революционного комитета.

Бабефу приходилось многое открывать, у него не было опыта предшественников. Он брел впопыхах, увлекаемый только горячим чувством. Тайная дирекция одобрила пять декретов, составленных Бабефом и Буонарроти.

Труднее всего дался экономический декрет. Будучи человеком достаточно проницательным и широким, Бабеф не пошел за сторонниками крайнего оправдания. Однако сельская жизнь оставалась для него идеалом. Он предполагал значительно сократить как размеры, так и значение городов. Зло в городах! Проститутки, художники, сводни, поэты, воры, праздные комедианты. Разгрузить Париж! Все должны работать, кроме инвалидов и старииков, достигших шестидесяти лет. Особо неприятные и тяжелые работы выполняются поочередно. Все приписываются по месту жительства и работы. Обеды в общественных столовых. Трудящиеся получают пайки, все необходимое: одежду, пищу, домашнюю утварь. Передвижение разрешается только с ведома властей. Республика составляет опись продуктов земледелия и ремесла, распределяя их по областям. Главное - учет! Надо управлять не красноречием депутатов, но арифметикой. Торговля граждан с иностранными купцами запрещается под страхом смерти: это дело государства. Республика назначает агентов для внешней торговли: они приобретают за границей нужное сырье и продают иностранцам излишки продукции. Деньги внутри страны отменяются. Что касается запасов золотой монеты, то они пригодятся для внешней торговли,

«Декрет об управлении» делил население республики на «граждан» и на так называемых «иностраниц». Граждане занимаются полезным делом - это рабочие, землепашцы, ремесленники, солдаты. Сомнения вызвал вопрос об учених. Решили зачислять их в категорию «граждан» лишь по особым

рекомендациям коммуны. «Иностранцы» лишаются права входить в общественные здания и носить оружие. За плохое поведение они могут быть отправлены в исправительные дома. Острова Маргариты, Ре и Гиерские превращаются в концентрационные лагеря для подозрительных «иностранцев». Эти острова должны быть отрезаны от всего мира.

Каждый желающий что-либо напечатать должен представить рукопись на рассмотрение. Если его работа полезна, ему предоставляют типографию. Воспрещается печатать сочинения, противные принципам равенства.

Распространить ли все права на женщин? Мнения разделились: Буонарроти и Марешаль говорили, что женщины еще не подготовлены к управлению государственными делами, Бабеф, напротив, стоял за равноправие: он хорошо знал героизм простой служанки.

Власть народу предоставляется постепенно. Сначала надлежит ввести основы равенства. Когда же Республика окрепнет, все трудовые граждане будут созваны на избирательные собрания согласно конституции 93-го года.

Иногда обсуждение того или иного декрета вызывало недоверие: выполнимо ли это?.. Конечно, чаще всех высказывал сомнения Антонель. Бабеф негодовал:

- Как? Это неосуществимо? Теперь? В конце восемнадцатого века?..

Однако и Бабеф боялся, что народ мало подготовлен к «обществу равных». Поэтому он считал особенно важным воспитание детей. Республика не может доверить родителям столь ответственной миссии. Дети поступают в воспитательные дома. Там учитывают как их наклонности, так и потребности страны, подготовляя столько-то учителей, столько-то слесарей, столько-то пчеловодов. Изучение истории и законов Республики укрепляет сердце подростков.<sup>35</sup>

Для воспитания взрослых полезны праздники: апофеозы великих мужей, публичные игры, проповеди ревнителей равенства. Надлежит учредить праздник, заменяющий крестины: представление новорожденного коммуне.

Пока другие государства не последуют примеру Франции и не установят у себя равенства, нужно закрыть границы. Кроме агентов республики, никто не должен выезжать за границу. Во Францию допускаются только труженики, убегающие от рабства, или же герои, преследуемые тиранами.

Одобрав проекты нового общества, Тайная директория перешла к обсуждению тех мероприятий, которые могли бы привлечь граждан, предпочитающих философии фунт белого хлеба. Что будет на следующий день после переворота? Немедленно в дома богачей вселят обитателей Сен-Антуана и Сен-Марсо. Беднякам, кроме того, выдадут одежду из государственных складов или из частных лавок. Имущество эмигрантов и прочих врагов народа будет распределено между защитниками революции. Надо уважать народ! Бабеф или Буонарроти готовы умереть за равенство. А народ хочет жить. Вот перед ним светлые дома, добро аристократов и, наконец, штаны, знаменитые штаны для неисправимых санкюлотов...

Как Бабеф, отвергший Робеспьера за террор, сам пришел к террору? Может быть, просто он освоился с революцией (ведь до этого он только и делал, что сидел в тюрьме), а революция, как известно, была щедрой на все: на идеи, на ассигнации, на кровь. Не было тогда ни философской системы, ни мелкого законопроекта без стольких-то отрезанных голов. Может быть, Бабеф изменился: два года тому назад в тюрьме Лана сидел живой человек, теперь это - трибун,

<sup>35</sup> Проекты организации воспитания и обучения в Первой республике неоднократно обсуждались национальным конвентом в 1792-94 гг. См. уникальную работу О.Сыркиной «Педагогические идеи Великой французской революции: речи и доклады» ([http://vive-liberta.narod.ru/biblio/ecolets\\_syrk.pdf](http://vive-liberta.narod.ru/biblio/ecolets_syrk.pdf)). Очевидно, концепция бабуистов ближе всего к плану национального воспитания Л.-М.Ле ПеллеТЬЕ.

председатель Директории, автор декретов, душа заговора. Может быть, изменилось и окружение. Робеспьер слал на эшафот Дантона и Шомета, Клоотса и Геберта. Это были еретики, но не изменники. Может быть, зрелище Терезы Тальен, «Балов жертв», спекулянтов в «Пале-Эгалите», «золотой молодежи», предателя Барраса, разгула последних приглашенных на революционное пиршество, которые долакивали опивки, - может быть, это зрелище заставило честного Бабефа столько раз аккуратно выписывать слово «смерть, смерть, смерть». Он готовился к высокому назначению: изменить человечество. Он знал, что для этого нужны солнце, братство и время, самое горькое - время. Как перепуганный врач, он хотел прибегнуть к давно испытанному средству: кровопусканию.

Для других членов Тайной директории, кроме Буонарроти и Жермена, террор был если не профессией, то, во всяком случае, привычным занятием. Антонель в свое время послал жч-рондистов на эшафот, Дебен восхвалял благодеяния гильотины, а Дартэ применял эти благодеяния на жителях Камбре. Вопрос о «наказании предателей революции» (так называли «равные» предполагаемые казни) вызвал куда меньше споров, нежели проект рабочего костюма.

Тайная дирекция, разумеется, не только сочиняла декреты - она действительно готовилась к восстанию. Париж был разделен на двенадцать участков. В каждый участок послали представителя. Эти районные представители сносились с Директорией через Дидье - «агента связи». Они не знали даже, кто стоит во главе заговора, состав Директории оставался тайным.

Среди районных представителей были рабочие, военные, адвокаты, журналисты - все испытанные патриоты, в прошлом приверженцы Робеспьера, а теперь сторонники равенства. Бабеф знал, где его друзья, своей опорой он считал двенадцатый участок - рабочий квартал Сен-Марсо.

Бабеф запрашивает представителя Сен-Марсо: сколько мастерских в участке, характер работ, настроение рабочих? Представитель, гражданин Моруа, отвечает: две красильни, в одной восемьдесят рабочих, в другой тридцать, все, как один, преданы делу «равных».

Представители поддерживали брожение, сулили беднякам дома аристократов и штаны, выслушивали трусость Барраса и его полицейских, уверяли, что завтра «мандаты» пойдут на вес, как ассигнации, что Дирекция вошла в соглашение с роялистами, что хлеба в Париже нет, что Бонапарт разбит наголову и Республике грозит тысяча опасностей. Они говорили правду, часто преувеличивали, порой умышленно лгали: в инструкции районным представителям рекомендовалось подымать население всеми способами, вплоть до распространения ложных слухов.

Районные представители были по большей части людьми бедными. Им приходилось зазывать патриотов в кабачки, чтобы там, за бутылкой вина, когда раскрываются души, спросить:

- Ну, как в вашей мастерской, - все готовы?..

Патриоты отвечали:

- Только и ждут сигнала.

За вино расплачивались представители. У Тайной директории вовсе не было денег. Самая большая сумма, которой она когда-либо обладала, это двести сорок пять франков. Бабеф презирал деньги. Он жил впроголодь. Но вокруг него было не воображаемое «общество равных», а Париж IV года, Париж балов, Барраса, поставок, модных лавок, Париж, коленопреклоненный перед любыми деньгами, даже перед балаганными «мандатами». Заговорщики должны были заменить деньги героизмом, Это было по душе Бабефу, но не Парижу,

Слов нет, у «равных» везде были горячие приверженцы. Два офицера из личной охраны Директории предложили убить директоров. Бабеф это предложение отверг: он хотел не дворцового переворота, а народного восстания. Он спал представителям новые инструкции: больше энергии! Учет патриотов! Полная тайна! Час близится!

Да, час близится. Об этом говорят донесения представителей, об этом говорят и глаза Бабефа; не усталость в них, да и не восторг, Бабеф накален добела: дальше он может только расплываться - победить или же погибнуть. Огромная работа выполнена: в тесной комнатушке преследуемый полицией человек создал не только очередной заговор, он создал новую религию. Он взял боколические грэзы XVIII века и превратил их в параграфы декретов: завтра они станут жизнью! Он докажет, что всеобщее благоденствие не в роскоши, не в военных победах, не в праздном искусстве, которым теперь тешатся и гражданин Тальма - актер, и гражданин Сансон - палач. Нет, всеобщее благоденствие в равенстве!

Вот сын его, Эмиль. Он трудился весь день. Он обрезал деревья плодового сада. Он рассказывал юным сыновам республики о первых зчинателях общества равных, о Робеспьере и Сен-Жюсте. Теперь он вышел за окопицу со своей молодой подругой. Перед ним сельское спокойствие, игры детей, благотворительное солнце, уходящее до завтра, и свежесть, заслуженная свежесть отдыха. Он счастлив. Это счастье достойно зависти: он счастлив, ибо равен, ибо его счастье никому не стоит ни пота, ни слез, ни крови. Когда это будет? Неужели только через десять лет? И увидит ли измученный Гракх эту вдохновенную картину?..

Минута мечтаний сменяется тревогой. Все ли готово?.. Отчеты представителей полны надежд. Бабеф теперь почти не выходит из дома: ведь вся полиция поставлена на ноги. Из его окна видны только небо и крыши. Он не видит Парижа. Жадно спрашивает он друзей:

- Ну, как?.. Нет, не отчеты... Как Париж, улицы, толпа, люди?..

Друзья отвечают по-разному. После удачного дня им кажется все прекрасным: «Париж кипит, как тридцать первого мая!» Но бывают и плохие дни, сказывается усталость. Вот сегодня - Буонарроти пришел мрачный, молча поздоровался.

- Как Париж?..

Не глядя на Бабефа, Буонарроти тихо отвечает:

- По-моему, Париж не с ними, но и не с нами. Он равнодушен.

Бабеф вскакивает, обнимает Буонарроти:

- Нет! Нет! Этого не может быть! Я знаю Париж - его нельзя зажечь словами. Но он весь загорится, как только увидит мужество «равных». Не журналистами должны мы быть - апостолами!

## 15

Десятого жерминаля в четыре часа пополудни молодой офицер Жорж Гризель<sup>36</sup> шел из военного училища к своей тетушке. Несмотря на весеннее солнце, Гризель был не в духе: жизнь его никак не налаживалась. Вместо веселых кутежей в одном из кабачков «Пале-Эгалите», он должен хлебать луковый суп и слушать, как его тетушка жалуется на базарных торговцев: «Живодеры! За пучок лука просят тридцать франков, как будто лук - это ананасы!»

<sup>36</sup> Жорж Гризель (13.01.1765, Аббевиль, - 22.06.1812, Нант). Сын портного, в конце 1782 г. вступил в пехотный полк добровольцев, отправляемых в Американские Соединенные Штаты. Но война за независимость вскоре была окончена, а полк распущен. Гризель обучается портновскому делу у отца, затем перебирается в Париж. В 1791 г. поступает на службу в 1-й батальон добровольцев Соммы, принимает участие в военных кампаниях Северной армии, неплохо продвигаясь по карьерной лестнице; чин капитана он получил 17 декабря 1793 г. С 25 июля 1794 г. он - капитан 3-го батальона 38-ой полубригады, размещенного в Гренельском лагере, в таком качестве он и выступает на сцену в 1796 г.

После его показаний на Вандомском процессе сослуживцы выживают его из военного подразделения, и Карно устраивает его адъютантом 2-го класса в Нант. В 1804 г. он получил еще повышение.

Денег тетушка не дает. Никакого повышения в чинах тоже не предвидится. Сколько офицеров за один год стали генералами! На что-нибудь же годна эта треклятая революция... А вот он, Гризель, - капитан, и точка. Дальше ни-ни. Подумать только, что проходимец Буонапарте назначен главнокомандующим. Вот это карьера! Почему же ему не везет? Он ведь тоже человек азартный...

Гризель шагал по набережной Тюльери, не обращая внимания ни на деревья в цвету, ни на улыбающихся модниц. Невеселый обед предстоял его тетушке.

С детских лет Гризель мечтал о славе. Он завидовал не только гражданину Тальену, но даже гражданину Сансону: помилуйте, стоит палачу прийти в театр, как все на него показывают пальцами. И потом такой Сансон хорошо зарабатывает: он не должен бегать за тридевять земель к старой дуре ради тарелки супа.

Гризель был сыном портного, и детство провел он в маленьком городке Аббевиле. Когда ему исполнилось восемнадцать лет, он стащил у отца две франков и уехал в Париж. Он хотел было записаться во флот. Эскадра отбывала в Гибралтар. Но Гризель не вышел ростом, и его забраковали.

Настала революция. Другие честолюбцы сделались ораторами, депутатами, журналистами. Гризель остался портным. Он клал заплаты и пришивал пуговицы. Наконец он попал в армию, но и там, дойдя до звания капитана, остановился. Маленькое жалованьеце, вылинявший мундир, обеды у тетушки - такова была жизнь Жоржа Гризеля. Понятно, что он шел и хмурился. Вдруг его окликает гражданин Мюнье:

- Гризель! Давно не видались...

За год до революции оба жили в одной комнате, съезжали портными. Дружба обнимается. Мюнье зовет Гризеля:

- Разопьем бутылочку!

Не так часто Гризеля угожают, чтоб он раздумывал. Они идут в «Женевское кафе». Мюнье спрашивает:

- Ну, как тебе живется?

Гризель самолюбив. Не станет он жаловаться перед этим портняжкой.

- Ничего. Как видишь, служу республике, - командую третьим батальоном тридцать второй полубригады. Мюнье хмурится:

- Я тоже, брат, ей послужил. Шесть месяцев. После прериала. Не понимаешь? Сидел в тюрьме Плесси вместе с другими патриотами. Верная служба, хоть и без чинов! Хороша республика - нечего сказать! Честные люди голодают, а б... купаются в золоте. Только подумать, за что мы проливали кровь!..

Дружба поднимает дух, вино также. Гризель не спорит с Мюнье. Он плохо разбирается в политике, на всякий случай он ругает Директорию. Это верный ход: ее ведь все ругают.

- Пять болтунов!..

«Женевское кафе», как десятки других кафе, место встречи патриотов. Здесь все знают Мюнье, все с ним чокаются: «За хорошую переделку». Гризель, конечно, тоже пьет. Пусть стынет суп тетушки! К черту! Нельзя покутить с красотками в шикарном кабаке? Что же, он будет дуть дешевое вино с этими мастеровыми, благо, что платит Мюнье.

Офицера угожают яблочной водкой и кофе. Он пользуется успехом, как хорошенькая женщина. Особенно ласков с ним некто Монье, мастер-поясник. Этот Монье все время говорит:

- Скоро армия придет к нам на помощь. Не правда ли, гражданин?

Гризель опрокидывает рюмочку:

- Разумеется.

Когда он выходит из кафе, все путается: тетушка и патриоты, Монье и Мюнье. Что за напасть! Он, кажется, перехватил. Добравшись до дома, он тотчас засыпает. На следующий день с трудом вспоминает он шумный вечер и морщится: мастеровые!.. Он ведь теперь не портной, а как-никак капитан армии.

Не следует, однако, думать, что Гризель привередник. Когда через несколько дней его новый знакомый, гражданин Монье говорит при встрече: «Идем ко мне обедать», он колеблется только из приличия. Куда ему идти? К той же проклятой тетушке?

Монье ведет Грзеля к себе, знакомит с женой. Эти люди бедные, но гостеприимные. На столе жареная колбаса и вино. Мопье говорит с Гризелем, как патриот с патриотом:

- Готовы ли солдаты поддержать нас?

- Готовы.

В душе Гризель смущен: чего им это приспичило?.. Лучше говорил бы о девочках!.. Он ведь не может блеснуть никакой оригинальной мыслью. Он даже плохо понимает, о чем говорит Монье.

- Как? Ты не читаешь газету Бабефа? Стыдно, патриот! Гризель оправдывается: служба, собачья служба! Начальство бездельничает, а у Гризеля ни минуты свободного времени... Монье показывает ему последний номер «Трибуна»: вот обращение к армии.

- Здорово?

Грзеля кинуло в жар, когда он прочел: «Убить пять королей». Где он?.. Игра становилась опасной. Но что же ему было делать? Спорить? Монье куда сильнее Гризеля. Еще, чего доброго, изобьет... И Гризель усердно поддакивал. Обрадовавшись, что есть перед кем поговорить, Монье не умолкал.

- Кто закрыл «Пантеон»? Кто подменил конституцию? Кто г> тюрьмах Марселя задушил сотни патриотов? Все они! Но сi.оро мы с ними рассчитаемся!..

Гризель с тревогой спрашивает:

- Как?

- Да как - очень просто. Как с Капотом. Все уже готово. Теперь только комитет скажет «пли!» - сейчас же шагом марш. Понял?

Грзель грешил не только трусивостью, он был па редкость любопытен.

- А кто в этом комитете?

Монье расхохотался:

- Ну и спросил! Этого, брат, и я не знаю. Этого никто не знает - ни Карно, ни патриоты, ни сыщики. На то он «тайный». Но если ты хочешь познакомиться с настоящими патриотами, я тебя отведу в «Китайские бани».

Монье позвал своего соседа - шапочника Гово. Втроем они вышли на улицу. Гризель попробовал рас прощаться:

- В другой раз. Служба...

Патриоты звали: «Брось! Идем!..» Гризель колебался: конечно, интересно поглядеть... Но еще, чего доброго, залезешь в какую-нибудь историю... Так и в тюрьму легко попасть - сидел же тот болван Мюнье...

Любопытство, однако, победило. Монье и Гово представили Гризеля как испытанного патриота. Гризель только улыбался и кивал головой: он был растерян. До этого дня он всегда сторонился революции. Он не бывал ни в клубах, ни на собраниях. Лица завсегдатаев этого кафе испугали его решимостью. Как всегда, Софи Ланьер исполняла патриотические куплеты. Услышав «погиб великий «Неподкупный», за революцию погиб, за нас», - Гризель невольно оглянулся: полно, не спит ли он? Здесь открыто восхваляют Робеспьера: как будто на дворе 93-й. Он даже подумал: улизнуть бы!.. Однако комплименты патриотов, обступивших офицера, его удерживали. Честолюбец охорашивался:

ага! наконец-то меня оценили! Один из патриотов, пошептавшись с Монье, сказал Гризелю:

- Хорошо, что ты пришел сюда. Нам нужно наладить связь с лагерями. Ты нам, наверное, можешь помочь.

Это был друг Бабефа Дартэ. Гризель не знал, кто с ним говорит, он ответил самодовольно:

- Что же, если вы во мне нуждаетесь, я, конечно, могу...

Дартэ показывает Гризелю воззвание Бабефа к армии;

Гризель, осмелев, критикует:

- С этим вы далеко не пойдете. Разве это язык для солдат? Это - философия, а солдату нужно загнуть такое, чтобы он расчихался. Твой Бабеф, может быть, и умный человек, но, видно, не нюхал казармы.

Дартэ испытующе оглядывает этого бойкого капитана. В душе он с ним согласен. Не раз он доказывал Бабефу, что для революции крепкие словечки куда полезнее всех Руссо.

- А ты взялся бы написать что-нибудь подходящее?

- Я ведь военный. У меня нет денег, чтобы печатать такие штуки.

- Ну, об этом не беспокойся. Мы напечатаем. А ты только составь. Ты ведь, наверное, здорово пишешь...

Гризель не в силах устоять против лести: хорошо, завтра, самое позднее послезавтра воззвание будет готово.

Вернувшись в училище, Гризель снова заколебался. Разумней всего бросить это дело. Что бы они там ни говорили, вряд ли их сторона возьмет верх. Они вот думают, что солдаты с ними. На самом деле солдаты режутся в карты, пьют вино, спят с девками и плюют на революцию. Конечно, будь это года на три раньше, Гризель сразу бы пошел с ними. Тогда всем правили именно такие сумасброды. Но тогда его никто и не знал. А теперь - дудки... может быть, доложить начальнику? Только какая ему будет польза? Наверное, полиция сама знает, что в «Китайских банях» собираются анархисты. Снова тихая служба, долги, тетушка? Скучно! Здесь по крайней мере - слава. Что же делать?..

Долго Гризель думал, наконец решил посоветоваться со своим товарищем Монтионом.

- Может быть, войти в их доверие и потом раскрыть весь заговор? За это, наверное, здорово платят. Вот бы покутили!.. Монтион был человеком осторожным.

- Делай, как знаешь. Я могу тебе обещать одно: если что выйдет, я за тебя вступлюсь. Ты, мол, сразу мне обо всем рассказал, а с ними связался, только чтобы выследить...

Это несколько успокоило Гризеля. Потом он все же не был уверен, что Директория сильнее заговорщиков. Вдруг победят патриоты? Тогда его сразу произведут в генералы. Бери выше: главнокомандующий. А если выяснится, что у них одни разговоры, тогда Гризель донесет куда надо, и Монтион его поддержит.

Гризель развеселился. Он достал лист бумаги и писал всю ночь напролет. К утру воззвание было готово. Дартэ пришел в восторг: «Молодчина!» Слог у Гризеля был действительно забористый; что ни строка, то словечко. Идеи оказались тоже подходящими: солдат разговаривал с Террором - «как при тебе хорошо было»... Кроме ругани, Гризель блистал пафосом: «Тигры с золоченой шерстью, они терзают наших жен и детей», или «пять львов, расфуфыренные, как муллы, они в пять раз наглее Капета».

Воззвание было напечатано и вручено Гризелю для распространения. Запершись у себя, Гризель тотчас сжег все листовки. Однако он продолжал

встречаться с Дартэ и с Жерменом. Он еще колебался: чья возьмет? Он выжидал. Однажды Дартэ вручил ему запечатанный пакет.

У Гризеля трясутся руки. Он вскрикивает. Печать: ватерпас. Наверху листа: «Всеобщее благоденствие». Жорж Гризель читает приказ о назначении его представителем Тайной директории в лагере Гренелль.

Он предпочел бы, конечно, прочесть приказ о назначении его командующим полубригадой. Но делать нечего - игра продолжается. Он исполняет свои обязанности представителя. Он пишет доклады Тайной директории, изобилующие мудрыми советами. Надо подкапываться под генералов, а младших офицеров щадить. Всячески содействовать нарушению дисциплины. Говорить побольше о грабеже: грабить богатых - это святое дело. Разговоров о равенстве солдаты не понимают, так что об этом лучше вовсе не распространяться. Главное - подготовка к решительному дню. Надо накануне восстания устроить балы в окрестных кабачках и напоить всех солдат. Это многое важнее манифестов.

Хоть Тайная директория и одобрила предложения Гризеля, он недоволен: снова Бабеф! снова доктрина! снова какое-то «общество равных»! Нет, он явно прогадал. Это болтуны, и только. Можно поднять народ, говоря ему «грабь», - это всем приятно. Но при чем тут равенство? Пусть каждый грабит, как может: дело таланта. Нельзя сравнить блистательного Гризеля с туцией Монтионом, хоть оба в тех же чинах. Этот Бабеф, видно, считает птиц в небе. Гризелю нечего делать с подобными простофиями.

И Гризель исчез. Напрасно «равные» поджидали его в «Китайских банях». Дартэ отчаялся. Как раз теперь Гризель особенно нужен. День восстания близится. Тайная директория назначила совещание с военными представителями, чтобы разработать план действий. И вот Гризеля нет...

Неизвестный человек пришел в военное училище:

- Я родственник Гризеля. Мне необходимо с ним срочно переговорить.

Гризеля никак не оставляют в покое: видно, судьба хочет, чтобы он стал героем. Записка: «Твои братья тебя ждут. Д.» Посланец приглашает офицера немедленно следовать за ним.

Они идут сначала к Дидье. Тот говорит: «Я проведу тебя». Гризеля даже дрожь берет: «Куда?» Молчание. Улица Сен-Онорэ. Дальше. Церковь Сен-Эсташ. Что это за уличка? Кажется, Гран-Трюандери. Здесь! Они поднимаются. Третий этаж. Длинный коридор.

В комнате людно. Дартэ и Жермен. Они радостно встречают Гризеля: наконец-то! Они боялись, уж не засыпался ли он. Они обнимают капитана. Тот растерянно оглядывается: кто здесь? Тогда к нему подходит изможденный человек с горящими глазами и порывисто его обнимает:

- Здравствуй, друг!

Это Гракх Бабоф. Чтобы доказать свою преданность заговорщикам, Гризель в ответ поспешно целует Бабефа. Но он больше не колеблется. Он уже знает, что ему делать. Вот этот человек - вождь? Дураки! Разве он умеет красиво говорить, ругаться, потрясать кулаками, величественно скрещивать на груди руки? Это не Трибун народа. Это девчонка... *Илья Эренбург*

## ЗАГОВОР РАВНЫХ

На собрании, кроме членов Тайной директории, присутствовали «военные представители»: бывшие генералы Фион и Россиньоль<sup>37</sup>, а также гражданин Массар.

Бабеф изложил план восстания: во главе идут «генералы». Их легко различить по большим трехцветным лентам вокруг шляп. Набат. Трубы. Плакаты с лозунгами: «Равенство», «Конституция 93-го или смерть», «Всеобщее благоденствие». Народ захватывает казначейство, военные склады, запасы оружия, провиант. Члены правительства подлежат суду на месте. Женщины будут уговаривать солдат не стрелять в рабочих. Патриоты братаются с солдатами. За грабежи - смерть. Хлеб в булочных реквизируется. Объявляется власть революционного комитета.

Гризель слушал очень внимательно, боясь пропустить слово. Он обдумывал свой план. Но все время его пугала мысль: что, если он покажется Бабефу недостаточно ревностным патриотом?..

- Я предлагаю за час до восстания поджечь дворцы в окрестностях Парижа: Бельвю, Трианон, Медон и другие. Правительство, конечно, пошлет войска, чтобы бороться с пожарами, а мы тем временем захватим Люксембург.

Дартэ кричит: «Браво!» Но генерал Фион высказываетя против: во дворцах много ценного имущества. Бабеф поддерживает Фиона:

- Поджоги были бы преступлением против народа.

Гризель больше не удивляется: он ведь сразу понял, что прославленный Бабеф - разиня и простак. Заговорщики расходятся. Гризель хочет запомнить дом, он, однако, боится, как бы другие не подумали: зачем это он остановился?.. Кажется, номер двадцать семь. На беду, стемнело и не видно ни вывесок, ни номеров. Капитана Гризеля теперь мало занимают трехцветные ленты на шляпах или конституция 93-го. У него в голове одно: какой это номер?..

Четыре дня спустя гражданин Карно получил таинственную записку. Некто Гарманд испрашивал у директора тайной аудиенции: речь идет о спасении республики. Карно тотчас ответил. Он приглашал гражданина Гарманда явиться лично к нему в десять часов вечера. В указанный час в большую приемную Люксембургского дворца вошел тщедушный офицерик, недоверчиво озираясь и одновременно прихорашиваясь.

Гризель начал так:

- Гражданин Карно, в моих руках - заговор «равных»...

## 16

Недели за три до знакомства Карно с Гризелем Люксембургский дворец увидел в своих стенах другого заговорщика. Это не был предатель, Жермен глядел на пышные фраки швейцаров с насмешкой. Особенно забавляли его большие розаны на чулках. Но как же член Тайной директории очутился в Люксембурге?..

Директоры, разумеется, знали о деятельности «равных». Об этом знал весь Париж. Министр полиции Кошон что ни день представлял тревожные сводки: анархисты готовятся... Кошон дружил с Карно: оба они стояли за крутые меры. Кроме покровительства Карно, политические принципы министра полиции

<sup>37</sup> Жан Ламбер Жозеф Фион (1745, Вервье, - 2.09.1816, Льеж), генерал и политик. Один из инициаторов Революции в Льеже, первый выборный бургомистр города, командир местной Национальной гвардии. В 1792 г. вступил в французскую армию, служил в чине бригадного генерала. В 1793 г. был ненадолго отстранен от командования войсками и арестован, но освобожден благодаря заступничеству Робеспьера.

Несмотря на то, что на Вандомском процессе он был оправдан, причастность к бабуистам его скомпрометировала для всех последующих правительств. После неудачного покушения на первого консула в октябре 1799 г. он был внесен в проскрипционные списки. Дальнейшая его судьба не прослежена.

Жан Антуан Россиньоль (7.11.1759, Париж, - 27.04.1802, Анжоан, Коморские о-ва) – генерал и политик, один из «эбертистов». Подробно его политическая биография изложена в книге Морриса Славина «Эбертисты под ножом гильотины» ([http://vive-liberta.narod.ru/biblio/hebertistes\\_mslavin.htm](http://vive-liberta.narod.ru/biblio/hebertistes_mslavin.htm)).

определялись и его уверенностью в конечной победе роялистов. В свое время член Конвента гражданин Кошон голосовал за казнь Людовика. Теперь он старался всячески искупить былые грехи. Роялисты обещали ему забвение, если он поведет борьбу против патриотов. Кошон настаивал: разгромить! Большинство Директории его поддерживало. Только виконт Баррас оставался при особом мнении. Он не верил ни Карно, ни Кошону, ни полицейским агентам, он боялся Парижа. Париж не может стоять за Директорию - это ясно. Значит, Париж за Бабефа...

Внутри Директории началась ожесточенная борьба. Барраса поддерживал только беспечный Рейбель. Кошон подливал масло в огонь: его донесения неизменно говорили о нападках заговорщиков на Карно. Следовательно, Барраса они щадят... И Баррас удовлетворенно улыбался: он хитрее Карно, у него друзья повсюду. Он ведет переговоры с роялистами. Он связан и со сторонниками герцога Орлеанского. Все генералы верны ему, Баррасу, - и Бонапарт, и Гош, и Журдан. Даже анархисты кричат «смерть Карно», но молчат о Баррасе. Вот что значит быть мудрым политиком!

Выслушав доклад Кошона, Баррас тотчас же переводит разговор на иные темы: о победах в Италии или даже о госпоже Сталь - «что за мужланка!». Карно кричит. Леревельер ехидно намекает на ветреность Барраса: нельзя же кокетничать со всеми на свете. Но ничего не помогает. Баррас оттягивает развязку. Что сулит ему победа правительства? Усиление Карно. Он предпочитает ждать.

Наконец до него дошли слухи, что к заговору примкнул герой Варенн, депутат Друэ. Здесь Баррас окончательно растерялся. Ну, если Друэ с Бабефом, значит, не сегодня-завтра придется выезжать из Люксембурга! О находчивости и отваге Друэ ходили легенды. Он был скромным станционным смотрителем, когда, заподозрив каких-то путешественников, прискакал из Сен-Менегульда в Варенн и там задержал коронованных беженцев. Эта ночь сделала Друэ знаменитым. В Конвенте он стал, разумеется, монтаньяром. Он попал в плен к австрийцам при падении Мобежа. Его допрашивал принц Меттерних. Друэ не преминул ошеломить принца несколькими словечками, взятыми из обихода якобинских клубов. Пленника посадили в крепость Шпильберг. Он не стал ждать революции в Австрии. Смастерив подобие парашюта, он выпрыгнул из окна каземата и разбил ногу. Когда его принесли в камеру, он был при смерти. Но он выжил - он был на редкость здоров и силен. В Шпильберге он просидел больше года. Освободили его не австрийские санкюлоты, но высокая дипломатия: после длительных переговоров пленные были выменены на дочь Людовика XVI, которая после смерти родителей и брата продолжала находиться под стражей. Париж встретил Друэ как героя. Чествование сменялось чествованием. Но Друэ все же остался недоволен Парижем. Пока он воевал и сидел в крепости, все переменилось. Он оставил Париж санкюлов, а вернулся в Париж Терезы Тальен. Его чествовали, но ходу ему не давали. Он волочил по улицам Парижа больную ногу и досаду: стоило прыгать из окошка!..<sup>38</sup>

Когда Баррасу сказали, что Друэ с Бабефом, Баррас тотчас отправил своего личного секретаря за одним из «равных», за молодым Жерменом: надо, пока не поздно, договориться. Жермена везли в закрытой карете. Его быстро провели в комнату Барраса: поставить открыто на Бабефа виконт все же не решался и хотел скрыть от Карно свидание с заговорщиком.

Беседа длилась около часа, - верней, это была не беседа, а монолог Барраса. Жермен молчал или отдельывался ничего не значащими словечками: «может быть», «не знаю», «вам виднее».

<sup>38</sup> Жан-Батист Друэ (8.02.1763 - 10.04.1824): <http://vive-liberta.narod.ru/ref/ref2.htm#druet>.

- Я слышал, что вы хотите свергнуть Директорию. Это ошибка. Посуди - как могут патриоты идти против меня? Я сам понимаю, что Директория далеко не идеал. Не за это мы боролись. Стоило ли свергать Капета, чтобы пять лет спустя увидеть, как эмигранты мстят патриотам... Все это так. Я первый негодую. Мы не враги, Жермен, мы товарищи. Наша задача - разбить роялистов, явных и тайных. Я окружен врагами... Ты понимаешь?.. Мы должны согласовать все действия. Когда настанет час, я выйду к народу. Мое место не здесь, не в Люксембурге, а среди рабочих Сен-Антуана...

Виконт еще долго говорил о своей преданности идеи равенства. Тереза, которая ждала его в соседнем будуаре, зглажась. Наконец Жермен встал - он торопится. Баррас дал ему на прощание постоянный пропуск в Люксембургский дворец.

- Обо всем советуйтесь со мной.

В тот же вечер Жермен сообщил Тайной директории о встрече с Баррасом. Бабеф одобрил назначение Гризеля военным представителем - Гризеля он не знал. А Барраса он знал хорошо. Он брезгливо поморщился:

- Предатель! Он сверг Робеспьера, он выдал героев прериала. Низкий позер, он смеет говорить о равенстве, после Терезы, после поставок Уврара, после балов в Люксембурге! Если б мы могли даже победить с его помощью, я предпочел бы поражение...

Все согласились. Баррас так и не получил от Жермена никакого ответа. Начались недели полные тревоги: что, если они не только против Карно, но и против Барраса?..

Два человека накануне решительного боя метались среди ночи от страха, не зная, в какую сторону им кинуться: капитан 38-й полубригады Жорж Гризель и гражданин директор Поль Баррас.

Гризель, еще недавно ничего не смысливший в политике, теперь хорошо знал, кто такой Друэ, с кем водится Кошон, каковы симпатии того или иного директора. Он обратился к Карно: он бил без промаха.

Выслушав подробный рассказ предателя, который начинался с того, как он, Гризель, шел к тетушке, и заканчивался поджогами дворцов, Карно умилился. Не гнущаясь, пожал он руку Гризелю: «Браво, капитан!» Он приказал ему, оставаясь с заговорщиками, выследить место, где собирается Тайная директория, чтобы накрыть всех преступников сразу. Карно, этот бледнолицый человек с маленькими выцветшими глазами, лысый, рябой, угрюмый, сиял. Теперь он не только истребит полоумную банду, он приберет к рукам Барраса! Гризель знал о переговорах директора с заговорщиками и, разумеется, не утаил от Карно этой детали, существенной для обоих: Карно было куда важнее скомпрометировать Барраса, нежели арестовать Бабефа, а Гризель немало ночей провел над мыслями о странном поведении виконта - Гризель боялся, что Баррас окажется сильнее Карно...

Карно решил устроить заседание Директории без Барраса. Это не трудно: виконт только и смотрит, как бы улизнуть. Он прежде всего ленив, эти заседания его утомляют, особенно весной, когда такая хорошая погода. Лучше бы поехать в Ренси или с Терезой в Сен-Клу: цветы, птицы, любовь. Баррас ведь ничем не хуже других, он тоже любит Грецию, простую жизнь, парное молоко (последнее только в стихах). Стоит ему сказать: «сегодня мелкие дела», и он тотчас, блаженно улыбаясь, сошлется на головную боль, откланяется.

На заседании четырех директоров было решено поблагодарить Гризеля за гражданские чувства и, пользуясь его указаниями, арестовать заговорщиков, в том числе депутата «совета пятисот» Друэ. Летурнер, как всегда, не давал никому говорить, рычал:

- Пусть депутат!.. Какая тут беда?.. На гильотину!..

Карно понимал, что арестовать Друэ, а тем паче судить его отнюдь не легко. Он умерял пыл Летурнера:

- Это мы потом посмотрим. Главное - заполучить компрометирующие заговорщиков документы. Не то их снова выгородят... У них ведь имеются высокие покровители...

Все замолкли. Рейбель попытался снаивничать:

- Неужели? Где же? В «совете пятисот»?..

Леревельер рассмеялся. Смеялся он неприятно - пискливо.

- Нет. Здесь. По соседству.

И имени Барраса никто не произнес. Говорили о том, можно ли довериться Гризелю, как организовать аресты, надо ли поставить на ноги армию. Совместно с Кошоном был разработан план действий. Оставалось ждать, пока Гризель укажет адрес.

Гризель пришел на следующий день. Он выслушал поздравления четверки. Он даже обедал у Карно. Это не тетушка! Его голова кружилась не только от директорского вина - где он?.. В Люксембурге! Детские мечты наконец-то начинают сбываться. Какие канделябры! Какой хрусталь! С ним запросто беседует председатель Директории. Значит, он понят. Завтра его назначат генералом. Не одному же Буонапарте везет... Гризель льстил Карно: «Без вас республика погибла бы»; блаженно улыбался: «обязательно назначат», успокаивал директора: «Завтра я беспременно разузнаю адрес»...

Однако стоило ему выйти из апартаментов Карно, как страх сменил недавние восторги. На лестнице он увидел блеск сабли и чуть было не лишился чувств, - его вовремя поддержал швейцар. Вдруг это Баррас?.. Гризеля преследовала одна мысль: Баррас за ним охотится, Баррас его убьет. Он уже раскаивался во всем: и в том, что пошел к Бабефу, и в том, что пошел к Карно. Все-таки обеды у тетушки были куда спокойнее. Этот трусливый человек, плохо понимая, что он делает, попал в самую гущу очередной революционной свалки: Карно валил Барраса. Мало ему страха перед заговорщиками, он должен бояться и Директории. Ну, положение!..

И Гризель исчез. Напрасно ждал его Карно, как ждал его прежде Дартэ. Карно уже начал сомневаться, не надул ли его капитан? Может быть, он снова перешел на сторону заговорщиков?..

Что касается Гризеля, то после обеда Карно он осилил и обед Дартэ. Он всячески старался показаться рьяным.

- Главное, устроить танцы во всех кабачках и выставить солдатам вино. У Тайной дирекции, наверное, нет денег. Но я все обдумал. У моего брата в Аббевиле лежат мои деньги, тридцать пять тысяч, я их уже выписал. Дальше. Я тебе не говорил о моем кузене. Это Поприкур, он нотариус, здесь в Париже. Он дьявольски богат, понятно роялист. Так вот он много раз предлагал мне деньги на обмундирование: «Нельзя так ходить, ты похож на санкюлота, а не на капитана». Я, конечно, отказывался. Но теперь я возьму у него тысяч десять - якобы на одежду. Вот уже сорок пять - можно напоить целый эскадрон. Словом, за Гренелльский лагерь я отвечаю. Наконец Дартэ ему сказал:

- Сегодня вечером приходи на решительное собрание. Мы выступим через три дня. Надо обсудить детали. Приходи часам к восьми. Это на улице Сен-Онорэ, номер девяносто, над парфюмерной лавкой.

Гризель робко спрашивает, боясь, что Дартэ его заподозрит.

- А я найду?.. Ведь я не знаю, у кого это?

- Найдешь. Это квартира Друэ.

Гризель уж сам не рад, что спросил. Все время он мечтал, как бы разнюхать, где собираются заговорщики. Теперь в его руках адрес. Удача? Да, но у Друэ.. Друэ - значит Баррас. Баррас уже все знает. Баррас его убьет.

Карно наконец-то увидел Гризеля. Капитан еле стоял на ногах.

- Что с вами? Больны?

- Нет, гражданин директор, я только утомлен. Все время я на ногах. Я выполняю мой долг. У депутата Друэ... Сегодня вечером. Вы должны нагрянуть... Я там тоже буду...

Рейбель успел предупредить Барраса о доносе Гризеля. «Друг патриотов», конечно, не торопился в Сен-Антуан, чтобы вместе с работниками спасать революцию. Нет, он быстро взвесил все. Карно его перехитрил. Хоть с Бабефом Друэ, но с Друэ - Гризель. Партия заговорщиков проиграна. Надо спасать себя. Наверное, Гризель знает о посещении Жермена...

На первом же заседании Директории, не дожидаясь выступления Карно, Баррас, весь багровый от злобы и от страха, начал сразу кричать:

- Я знаю все!.. Я сам против анархистов... Кто закрыл «Пантеон»? Я окружена интригами. Что же, я готов принять вызов. Я выступлю перед Законодательным собранием. Мне нечего скрывать. Я всегда действую прямо и открыто.

Долго он оправдывался, клялся в верности сотоварищам, грозил расколом, уходом, скандалом. Его поддерживал, разумеется, Рейбель. Летурнер попробовал было предложить расследование, но даже Карно стоял за соглашение. И без раскола Директории предстоят тяжелые часы. Кто знает, как встретит Париж арест Бабефа? Надо убедить депутатов выдать Друэ. Барраса обвиняют в попустительстве якобинцам. Пусть он арестовывает своих тайных друзей. Это и надежней и умнее. Пусть от Барраса отшатнутся все. Тогда Карно наведет порядок.

И Карно стал успокаивать Барраса: к чему столько горьких слов? Здесь все ему верят, все его уважают. (Перевельер проглотил смешок.)

Но Баррас не мог успокоиться. Вдруг выяснился, что он предлагал генералу Россиньолью военную помочь или что он выдал Жермену пропуск во дворец? Нервничая, Баррас то и дело смотрел на часы: скоро девять! Сейчас их схватят... Что-то будет?..

А Гризель шел по улице Сен-Онорэ. Он каждую минуту оглядывался: ему казалось, что за ним гонится гражданин Баррас.

## 17

«Равные» узнали, что монтаньяры, опальные депутаты, термидорианцы, разочаровавшиеся в термидоре, тоже готовятся к восстанию.<sup>39</sup> У них был общий враг - Директория, но различные цели. Монтаньяры стояли за созыв старого Конвента, за борьбу против роялистов, за террор, за возврат к законам, к навыкам 93-го года. Идеи Бабефа казались им бредом: ведь даже в санкюлотской конституции 93-го года право собственности объявлялось «священным». Это были не философы и не реформаторы, но только завсегдатаи якобинских клубов, оказавшиеся не у дел. Во главе их стоял Друэ. За ним шли Жавог, Гуге, Рикар,

<sup>39</sup> Имеется в виду «комитет Амара» - группа бывших депутатов Конвента, монтаньяров, в их числе Жан-Батист Амар, бывший член Комитета общей безопасности, и Робер Линде, бывший член Комитета общественного спасения, упоминаемый ниже Рикор – представитель Конвента при Итальянской армии, Юге, конституционный епископ деп.Крез, Жавог... См., например: А.Матьез, «Термидорианская реакция» ([http://narod.ru/disk/11231826000/mathiez\\_therm2.pdf.html](http://narod.ru/disk/11231826000/mathiez_therm2.pdf.html)), [http://narod.ru/disk/11231810000/mathiez\\_therm1.pdf.htm](http://narod.ru/disk/11231810000/mathiez_therm1.pdf.htm)).

Жан Франсуа Рикор (1760-21.02.1818, Париж), адвокат, мэр Грасса, депутат Национального конвента, монтаньян. Вместе с Огюстеном Робеспьером работал в миссии в южных департаментах Франции и при Итальянской армии. После термидорского переворота заключен в тюрьму, освобожден по амнистии 26 окт. 1795 г. На Вандомском процессе был оправдан; в 1801 и 1806 гг. несколько раз был под арестом и, очевидно, под постоянным надзором полиции, как «неблагонадежный» республиканец.

генерал Россиньоль и другие - слишком честолюбивые, чтобы спокойно уступить свое место другим, вернуться к мелочной торговле или к нотариальным папкам.

Бабеф и его друзья относились к монтаньярам подозрительно: это не подлинные демократы! «Равные» чтили память Робеспьера. А среди бывших депутатов не было, кажется, ни одного, кто после термидора не поносил бы «павшего тирана». Однако в политике чувствам нет простора, и «равные» начали переговоры с монтаньярами.

У Друэ или у Рикара не было никакой идеологии, перед рассуждениями Бабефа они пасовали. Они только твердо верили, что никогда французский крестьянин не отдаст своей земли в общее пользование. Против проектов Бабефа трудно было спорить: они логичны и справедливы. Но пусть он попробует сказать Полю или Пьеру, что его огород принадлежит коммуне!.. Монтаньяры спокойно выслушивали декларации «равных»: забавляются!.. Их занимало другое: кто войдет в новое правительство? «Равные» требовали власти бедняков, замлешашпев, работников, ремесленников. Здесь-то монтаньяры не сдавались. Они хотели власти для себя. У них был только один лозунг: да здравствует распущенный Конвент!

Бабеф негодовал:

- Мы не можем уступить. Стоит ли столько бороться, чтобы Францией снова правил тот Конвент, который Робеспьером справедливо назван «сборищем убийц»? Нет, эти люди уже отведали власти, хлебнули из чаши - они отравлены! Нужны воистину новые силы, санкюлоты, не политики, а народ.

«Равным» пришлось все же пойти на уступки. На совещании с монтаньярами было решено восстановить Конвент, пополнив его испытанными санкюлотами, по одному от каждого департамента.

У Друэ было назначено последнее, решительное заседание. Массар представил план восстания, одобренный Тайной дирекtorией. Баррикады - в квартале Сен-Антуана. Если правительство вызовет солдат из Венсенских казарм, они будут остановлены. В Люксембурге имеются подземные ходы - надо следить, чтобы директоры не удрали. Захват Монмартрского холма: в случае сопротивления оттуда можно обстреливать аристократов, в случае неудачи - там сборный пункт. Из лодок плавучий мост, он свяжет Сен-Антуан с Сен-Марсо. Впереди пойдут женщины и дети, чтобы солдаты не стреляли.

Какой выбрать день? Увы, многие патриоты преданы старым обычаям: празднуют воскресенье. Лучше всего, чтобы воскресенье совпадало с декади: тогда все на улицах.

Заговорщики подсчитали свои силы: революционеров - четыре тысячи, членов прежних комитетов, трибуналов, комиссариатов - тысяча пятьсот, пушкарей - тысяча, разжалованных офицеров - тысяча, революционеров из провинции, которые находятся временно в Париже, - тысяча, гренадер «совета пятисот» - тысяча пятьсот, арестованных солдат - пятьсот, полицейский летен - шесть тысяч, инвалидов - тысяча, всего семнадцать тысяч. Эта цифра развеселила всех. К тому же Гризель поспешил вставить:

- Прибавьте весь Гренелльский лагерь. Я там хорошенъко поработал: солдаты и офицеры - все за нас.

Повстанческую армию разделили на три дивизии. Задача - прорваться к двум лагерям: Венсени и Гренелль. Там присоединяются восемь тысяч. Если счастье повернется против - строить повсюду баррикады, обливать усмирителей кипятком и серной кислотой, забрасывать их камнями. Добавили: «Приготовить камни».

Вдруг цокот под окном. Солдаты. Массар кидается к окну, пробует приподнять тяжелую штору. Друэ его удерживает: заметят. Минута долго длится. Наконец хозяин, который прошел в переднюю комнату, где темно, кричит: «Уехали»;

Ложная тревога - это был обыкновенный патруль. Все смеются, шутят. Все, кроме Гризеля, - для него тревога не миновала, она только начинается: почему же не приходит полиция? Неужели Баррас победил?

Собрание теперь обсуждает, как обеспечить продовольствие Парижа после победы. Гризель томится: половина десятого, десять - никого! Вот уже заговорщики встают, прощаются: скоро одиннадцать, а после одиннадцати патрули останавливают прохожих. У Бабефа вовсе нет паспорта. Дартэ дает ему какой-то документ.

- Оставайтесь, разопьем бутылку бургундского. Но заговорщики отказываются: не до вина. Остался один Дартэ - ему нужно потолковать с Друэ о том, какими силами располагают монтаньяры. Гризель вышел со всеми. Быстро распрошавшись, он понесся в Люксембург. Что случилось?.. Карно смотрит, ничего не понимая:

- Вы же сказали в одиннадцать...

- Я? Я сказал вам в десять.

- Сейчас, наверное, Кошон уже там.

- Но ведь он никого не застанет. Отмените!.. После налета они станут вдвое подозрительней... Скорее, гражданин директор!..

Карно шлет вестового с пакетом, вестовой пришпоривает лошадь.

Поздно! Гражданин Кошон уже входит в дом, где живет Друэ. Вся Вандомская площадь запружена кавалеристами. Соседи смотрят: что за военный смотр? Неприятель? Роялисты? Бунт?

Гражданин Кошон врывается, готовый командовать, стрелять, рубить. Он видит депутата Друэ, который сидит вочных туфлях и мирно распивает бургундское с каким-то земляком. Друэ встает. Он грохочет от негодования:

- Австрийцы и те были вежливей! Врываться ночью в дом запрещено даже вашей конституцией. Притом, может быть, вы забыли, гражданин Кошон, что я депутат?

Кошону ничего не остается, как выдумать глупую историю и, попросив прощения, удалиться со всеми пехотинцами, кавалеристами, с боевым задором и с приказом Директории за пазухой.<sup>40</sup>

Карно и Гризель обвиняют друг друга. Председатель Директории и маленький офицерик забыли о различии рангов. Оба кричат: «я не говорил», «нет, вы сказали», «девять», «одиннадцать»...

Бабеф усталый заснул. Под утро его будит Дартэ:

- К Друэ пришли. Нам повезло. Только-только разошлись... Уж не измена ли?..

- Кто там не был? Жермен? Да, но Жермена я знаю, он не может предать. Это, наверное, случайность. Вы сговорились о дне?.. Хорошо, что ты меня разбудил. Я сплю уже три часа, а мне надо работать. Время не терпит. Я должен закончить экономический декрет: система распределения рабочих рук... Пусть все будет готово к часу победы.

- А если мы преданы? Если нас схватят до назначенного дня?

- Ты устал, Дартэ. Ты несешь вздор. Мы должны победить, и мы победим,

## 18

Увидев Дартэ, Гризель замер: вдруг кинется, крикнет: «это ты!», убьет. Но Дартэ дружески поздоровался и позвал Гризеля в кафе: там они пили кофе и обсуждали, как бы переманить на сторону заговорщиков всех гренелльских солдат. Дартэ позвал Гризеля на заседание.

<sup>40</sup> Шарль Кошон де Лаппаран (24.01.1750, Шандене, - 17.07.1825, Пуатье). Из буржуазной протестантской семьи. Депутат Генеральных штатов, затем Национального конвента, член Комитета общественного спасения (дантоновского, весной 1793 г.). В период Исполнительной дирекции – министр полиции, он пользовался позднее и милостями Наполеона Бонапарта. Высланный из Франции после реставрации Бурбонов как «цареубийца», он все же получил разрешение вернуться и мирно дожил свои дни.

- Я думаю, днем безопасней. Вечером повсюду патрули. Так что завтра мы соберемся в полдень. Я достал чудесное помещение: за Друэ, видно, следят. Это на улице Папильон.

Гризель выдерживает должную паузу, скрывая зевком волнение, спрашивает:

- У кого? То есть где - какой номер?

Дартэ уже наделал немало оплошностей: он ввел Гризеля в заговор, он назначил его военным представителем, наконец он показал ему квартиру, где скрывается Бабеф, но сейчас что-то его удерживает. С досадой он говорит:

- Зачем тебе знать все заранее? Приходи ко мне в одиннадцать - я буду дома. Вместе и пойдем.

Гризель, конечно, не настаивает. Дело дрянь! Хоть бы распознать дом Бабефа! Он отправляется на улицу Гранд-Трюандери. Тщетно он старается вспомнить, куда его вел Дидье. Кажется, вот здесь... Нет, там были большие ворота. Здесь? Может быть. А может быть, и нет... Черт побери, все дома похожи один на другой! К тому же тогда было темно... Гризель морщит лоб и меланхолично вздыхает. Вдруг – Дидье:

- Ты как сюда попал?..

Гризель бледнеет: попался! Он лепечет!

- Здесь сапожник... Он шьет мне сапоги...

Голос срываются. Так может говорить только преступник, пойманный с поличным. Сейчас Дидье его схватит. Но нет, Дидье далек от подозрений.

- Ты что хранишь?.. Трудно наставлять солдат?.. То-то! Ну-ка зайдем в этот кабачок - я тебя угощу стаканчиком, полезно для горла...

Еще раз спасен! С восторгом Гризель пьет «за победу». Остаток дня он блуждает по городу в надежде разнюхать два номера: на улице Папильон и на улице Гранд-Трюандери.

А в Люксембурге волнение. Весь вечер граждане директоры с тревогой прислушиваются к шагам: идет? не идет? Их судьба теперь в руках какого-то подозрительного капитана. Опасность всех примирила: Карно больше нессорится с Баррасом. Директоры пытаются развлечься политическими новостями.

- Делакруа сказал, что Россия стягивает войска к границам Финляндии. Швеция этим весьма обеспокоена, там возможна война.

- Что же, это нам на руку. Пускай дерутся друг с другом. Екатерина нас не очень-то жалует.

- Говорят, что наследник, Поль Петрович, чуть ли не якобинец. Во всяком случае, он был во Франции инкогнито и нам симпатизирует.

- А как в Италии?

- Сардинский король согласен уступить Тортону Бонапарт неплохо работает...

- Но что же его нет? Уж одиннадцатый...

- Может быть, они его убили?..

- Или еще проще: он водил нас за нос, чтобы облегчить их работу.

- Мрачно!

Гризель пришел после одиннадцати, и пришел с пустыми руками: улицы без номеров. Однако он на что-то надеялся:

- Завтра к десяти часам будьте готовы. Расставьте повсюду полицейских, разумеется, в штатском. Заговорщиков накрыть нетрудно. Но этого мало. Бабеф, наверное, туда не придет. Так мне сказал Дартэ. Потом на собрании - никаких бумаг. А у Бабефа кипы, я сам видел. У него не комната - канцелярия. Необходимо узнать номер Бабефа.

Гризель легко переходил от раболепства к наглости. Теперь он чувствовал, что эти люди зависят от него. Он старался гордой осанкой искупить свой чрезмерно малый рост.

- Словом, граждане директоры, не унывайте! Надейтесь на меня!

Всю ночь Гризель думал, К утру план был готов. Эта ночь для многих была бессонной. Бабеф составлял проект «Обращения к победившему народу». Воззвание не удавалось. Он переправлял, снова шагал по комнате, снова писал. Работал и Карно. Председатель Директории, обнадеженный Гризелем, подписывал ордера на арест. Рука устала: за ночь он подписал двести сорок пять ордеров; наверху каждого листка стояло: «Свобода - Равенство - Братство». Впрочем, этих слов гражданин Карно не читал: он давно привык к ним. С особым удовольствием он подписал листок, на котором выписано было имя личного секретаря Барраса, гражданина Луи Брута. Этот Брут не имел никакого отношения к «равным». Про него говорили, что после заседаний Директории он крадет свечи. Но Кошон причислил Брута к «бабувистам», чтобы насолить Баррасу. И Карно улыбался: пусть позлится! Он знал ведь, что перепуганный Баррас не вступится за своего секретаря. Баррас, кажется, даст арестовать даже Терезу, лишь бы обелить себя.

Утром Гризель отправился к гражданке Клеркс, у которой прежде жил Бабеф. Он знал, что Клеркс передает Бабефу письма. Он набросал записку: нельзя ли устроить сегодня заседание военных представителей совместно с помощниками? Гризель боится, что последние еще сомневаются в силе организации. Он приписал «постскриптум»: «Я забыл номер дома на улице Папильон, где назначено собрание». Он попросил гражданку Клерке тотчас отнести записку Бабефу. Проследить, куда она идет, он не решился и поручил это одному из полицейских агентов: «Сейчас выйдет женщина лет сорока-пятидесяти, она пойдет в сторону Алль-о-Бле, следите за ней!»

Гризель от волнения указал Карно неверный час собрания у Друэ. Теперь он снова напутал. Он поставил полицейского возле другого дома. Тот стоял и ждал - никакой женщины не было. Наконец ему надоело стоять, и он ушел. Увидев, что дело не удалось, Гризель решил действовать напролом. Страх придал ему храбрости. Он кинулся в квартиру Клерков.

- Ваша жена еще не вернулась? Вот беда! У меня срочное дело. Я бы сам пошел к гражданину Бабефу, но я забыл номер дома. Глупая история! Столько раз я бывал там, а вот никак не могу запомнить номер! Это у меня после лихорадки память ослабела...

Клеркс его утешил:

- Я сам не знаю номера. Только вы легко найдете и без номера. Как свернуть с улицы Вердоле, это вторая дверь - между большими воротами и подъездом...

Гризель ушел. Через час он вернулся: у него не было еще второго номера - на улице Папильон. Он взял у гражданки Клеркс ответ. Бабеф предлагал Гризелю никаких расширенных собраний не устраивать. Зачем посвящать столько лиц в дела комитета?.. Эта часть письма, конечно, мало интересовала Гризеля. Зато в «постскриптуме» Бабеф сообщал ему точный адрес гражданина Дюфура, на улице Папильон, у которого назначено заседание.

Победа! Гризель передает оба адреса генералу в штатском. Сам он спешит, не к гражданам директорам, а к тетушке. Сегодня он предпочитает луковый суп всем яствам Карно. Вдруг заговорщики окажут сопротивление? Вдруг за них вступится толпа? Кто знает!.. У тетушки спокойней. Когда выяснится, чья взяла, он покажется на свет божий.

Арестовать Бабефа поручили главному инспектору полиции гражданину Доссонвилю, который был известен только тем, что за хорошую мзду тотчас вычеркивал из списка эмигрантов любое имя и умел мастерски разгонять безработных. Карно со слов Гризеля нарисовал точный план квартиры, где скрывался Бабеф. Операция была тщательно обдумана. Надо арестовать Трибуна народа незаметно: ведь улица Гранд-Трюандери находится возле Рынков. Это людный квартал. Бабефа там знают и любят. Его не выдадут. Карно надумал: следует через агентов пустить слухи, будто накрыта большая шайка воров.

Агенты принялись за работу. На рынках, в окрестных кабачках, на улицах они стали плести самые невероятные истории. Помните, ограбили вдову Люсьен? А лавочку на улице Вердоле? Вот всё эти разбойники!.. Говорят, что это иностранцы. Кажется, бельгийцы... Черт их знает! Слава богу, что словили!.. Агенты поумнее произносили даже патриотические речи:

- Хоть раз хватают разбойников! Кого они всегда арестовывают? Честных людей. Патриотов. Рабочих. А воришки на свободе, проходу от них нет. Пора взяться за ум-разум!..

Отряды пехоты и кавалерии прячутся в отдалении. Как будто все готово. Но гражданин Доссонвиль мечется по городу: он ищет не пушки, а понятых. Как-никак существуют законы, полицию должно сопровождать должностное лицо. Он бежит к гражданину Лефрансуа. Это мировой судья участка Брута.

- Я прошу вас присутствовать при аресте.

- Кого?

- Не все ли вам равно? Преступников. Анархистов. По приказу Директории.

Гражданин Лефрансуа маленький человечек. Он не заговорщик. Он и не Гризель. В возмущении он отвечает:

- Вы хотите, чтобы я способствовал аресту патриотов?.. Никогда! Лучше я выйду в отставку.

Спорить некогда. Доссонвиль мчится к другому судье - участка Контра-Сосиаль.

- Арестовать патриотов? Простите... Я не могу. Я болен. У меня сердечные припадки.

Дальше! Судья квартала Бон-Консей.

- Вы обязаны меня сопровождать. Улица Гранд-Трюандери - в вашем участке.

- Ни за что! Вы можете подать на меня жалобу. Уволить. Судить. Все, что вам вздумается. Но с вами я не пойду... Наконец Доссонвиль нашел послушного человека. Правда, это был не судья, а полицейский комиссар участка Брута. С ним разговор был короток:

- Готовы?

Одннадцать часов утра. К дому Дюфура на улице Папильон подходят заговорщики. Полицейские прячутся в соседних дворах. Бабеф и Буонарроти не пошли на собрание. Бабеф днем не выходит: его знают в лицо все полицейские. Бабеф заканчивает «Обращение к победившему народу». Он ничего не слышит: Доссонвиль распорядился придержать лошадей на улице Вердоле, чтобы не дать времени заговорщикам уничтожить бумаги. Он тихо крадется по лестнице.

Звонок. Дверь открывает хозяйка квартиры, гражданка Тиссо.

- Муж дома?

- Нет. Вышел.

Доссонвиль быстро отталкивает женщину и бежит по коридору. Дверь налево. В комнате: Бабеф, Буонарроти, писец Пилле. Бабеф пишет. Увидев полицейского, он встает, в руке его еще перо. Он дописал: «народ, ты победил!»... Доссонвиль командует:

- К окнам!.. Вы арестованы. В случае попытки сопротивляться или скрыть документы я прикажу стрелять.

Бабеф, еще полный громких слов «воззвания к народу», задумчиво говорит:

- Что же!.. Значит, не суждено... Тираны победили...

Потом он выходит из себя. Он кричит Доссонвилю:

- Тебе не стыдно? Почему ты, как собака, повинуешься своим хозяевам?

Доссонвиль отвечает гордо - ведь он окружен подчиненными:

- Я повинуюсь законному правительству и прошу вас не вступать со мной в пререкания.

Бумаги собраны. Их охраняют часовые. Но как вывести арестованных? Вдруг толпа узнает Бабефа. Улица запружена народом. Все здесь боготворят Бабефа. Никто, однако, не догадывается, что он находится в этом доме, что он арестован, что сейчас его повезут вот в этой карете... Сыщики кричат:

- Браво!.. Накрыли!.. Нашли уйму денег!..

Рослые полицейские окружают Бабефа, подхватывают его и быстро кидают в карету. Обошлось. Никто не узнал Трибуна народа. Буонарроти пробует что-то крикнуть, но рев полицейских покрывает его голос:

- Воры! Бандиты! Вдову Люсьен кто прирезал? Народ поддакивает:

- Смерть убийцам!

Под надежным эскортом арестованных везут в тюрьму Аббэ. Вскоре к тюремным воротам подъезжают и другие кареты: это заговорщики, арестованные на улице Папильон, - Друэ, Дартэ, Жермен, Дильте, Рикар. К вечеру все камеры переполнены.

Карно написал обращение к «гражданам Франции»: «Раскрыт преступный заговор. Бабеф и его приспешники мечтали о всеобщем грабеже и о неслыханных злодеяниях». Гризель расстался с тетушкой и, больше не озираясь по сторонам, походкой триумфатора направился в Люксембургский дворец. Все граждане директоры его поздравляют. Леровельер забыл о присущей ему обычной иронии:

- Мы не знаем, как вас наградить за ваш геройский поступок.

Гризель кокетничает. Он показывает на сердце:

- Моя награда здесь.

Он объясняется в любви Карно:

- Я верен вам, как плющ верен дубу.

«Дуб» мигает крохотными глазками и ласково треплет по плечу национального героя. Гризель тает: он видит генеральский мундир, золото, преклоненные толпы, улыбки женщин, овации, славу.

А Париж? Париж молчит. Как всегда, блестят сотнями огней кафе и балы. Как всегда, бедняки говорят о хлебе, а франты о новой моде: скоро вальс заменит все танцы, он куда приятней - кавалер прижимает даму к себе... Стратегов увлекает победа Бонапарта при Лоди, политиков - вопрос о том, как отнесется «совет пятисот» к аресту депутата Друэ. Спекулянты рады новому падению ассигнаций: луидор сегодня восемь тысяч двести, и женщины квартала Сен-Марсо разводят руками: хлеб тридцать пять франков фунт!

Но арест Бабефа?.. Враги народа схватили Гракха, вождя санкюловотов, проповедника равенства, заступника, друга, трибуна - ты слышишь, Париж? Одни радуются, другие угрюмо сжимают кулаки: «Предатели!» Однако на улицах тихо. Никто не кричит «освободите Бабефа!». Вокруг тюрьмы Аббэ молчание, ночь, часовые. Париж обескровлен. Сколько можно требовать от одного поколения? 14 июля, 30 августа, 31 мая, 12 жерминаля, 3 прериля - все эти дни теперь зовут «историческими». Не слишком ли много их для семи календарных лет и для обыкновенной человеческой жизни?

Париж, застучись! Они убьют Бабефа...

Перекликаются часовые, и снова тишина. Париж молчит.

19

Молчание может о многом говорить, и Бабеф понимает его голос. Мрачно поглядывает сторож на нового арестанта, который всю ночь бегает из угла в угол. Какой, однако, страшной может быть ясная майская ночь! Не о себе думает Бабеф. Смерть? Что же, он готов. Он давно готов к ней. В давнюю летнюю ночь, когда толпа ревела вокруг ржавого фонаря, когда впервые говорила с Бабефом революция, - он уже понял, какой конец готовит ему судьба. В дни гражданских бурь только святые и трусы умирают на своих кроватях. Революция - это значит смерть. Нет, его страшит не смерть Бабефа, которого звали «Франсуа», потом «Камилл», потом «Гракх», которому тридцать пять лет, у которого жена, дети, голубые глаза, шрам на правой щеке, который помнит отца - майора, лес возле Руа, книги Руссо и поцелуй Гризеля. Человек умрет. Другое его пугает: смерть революции.

Париж молчит. Директория снова уничтожит сотни патриотов. Что же дальше?.. Аристократия, Людовик XVIII, австрийцы, Питт, убийцы из Кобленца, что на Рейне, или из Кобленца, что на парижских бульварах. Неужели эти пять слепцов не видят, куда они ведут страну? К ногам монарха - вот куда! Если «равные» погибнут, с ними погибнут не только мечты о всеобщем благодеянии, груды исписанной бумаги и сколько-то благородных сердец, с ними погибнет революция.

Кто же ее хочет убить? Шуаны? Иностранцы? Нет, Баррас, Карно, Рейбель - все бывшие якобинцы, враг церкви Ләреәэльәр, монтажъэр Летурнөр, гятеро, голосовавшие за смерть Капета. Может быть, среди гяти имеется один слепец, но не предатель. Долг Бабефа открыть ему глаза. Пусть знает, кого они хотят убить.

Бумагу и перо! Скорее!..

Гракх Бабеф пишет: «Граждане директоры, или вы считаете недостойным для себя говорить со мною, как держава с державой? Вы теперь увидали, что я окружен доверием многих. Вы должны содрогнуться»...

Бабеф вздрагивает: вдруг эти несчастные подумают, что я хочу оправдаться, что я боюсь их мести? Он пишет: «Я никогда не стану отрицать причастности к заговору, я считаю этот заговор священным. Вы можете меня приговорить к ссылке или к смерти: это будет торжеством преступления над гражданской добродетелью. Хотите ли вы моей смертью воздвигнуть еще один алтарь, рядом с прославленными жертвами - с Робеспьером и Гужоном?..

Опомнитесь! Если вы уничтожите патриотов, вы останетесь одни перед роялистами. Еще не поздно!..

Не думайте, что я забочусь о себе. Смерть для меня - путь к бессмертию. Стойко и благоговейно я взойду на эшафот. Но не это спасет республику.

У патриотов, у всего народа сердце изранено. Хотите ль вы нанести еще один удар?»...

Бабеф долго пишет. Он что-то доказывает, уговаривает, грозит, обещает прощение пятерым безумцам, если они покажут себя патриотами. Письмо его похоже на бред. Это судебный приговор победителя, а не жалоба арестанта. Он, как всегда, чрезмерно дальновиден. Он видит гибель республики, разочарование народа, власть военщины, победу мстительных роялистов. Но он сейчас не видит ни предательства Барраса, ни тупой самоуверенности Карно, ни мелкой подлости Рейбеля. Он говорит о спасении республики людям, которые, не краснея, шлют в Кайену своих вчерашних приятелей только за то, что те не захотели или не успели вовремя их предать.

Да, серную кислоту, чтобы обливать солдат, придумал не Бабеф, а наивное, если угодно, смешное, обращение к Директории написано Бабефом. Этот человек был не политиканом из кафе, даже не «трибуном», а апостолом.

На первом же допросе Бабеф показал:

- Убедившись в том, что существует гнет, я делал все возможное для свержения правительства. Для этого я объединился со всеми демократами. Не мой долг их перечислять.

Следователь:

- Какими средствами вы хотели достичь вашей цели?

- Все средства законны против тиранов. Не вам я должен давать отчет.

Париж по-прежнему молчал. Правда, вокруг тюрьмы Аббэ весь день толпились патриоты. Они негодовали. Но в их руках не было ни ружей, ни хотя бы булыжников. Они испуганно шарахались, когда показывался взвод драгун.

По приказу Директории главные заговорщики, кроме Друэ, были переведены в тюрьму Тампль. Там их посадили в одиночки и усилили охрану, чтобы они не общались ни с «равными», оставшимися на свободе, ни друг с другом.

Арест Друэ немало смущал правительство. Правда, «совет пятисот», перепуганный посланием Директории, тотчас же выдал депутата, но у Друэ было много друзей не только среди рабочих Сен-Марсо, а и среди высшей администрации республики. С Бабефом директоров ничего не связывало. Когда на заседании Директории Карно огласил его письмо, Баррас расхохотался:

- Сумасшедший!.. И трус... Говорит, что готов умереть, а на самом деле дрожит за свою шкуру...

Бабефа можно оскорблять, можно чернить его имя и идеи, чтобы показать «умеренным»: вот от кого мы вас спасли!.. Кто стоит за Бабефа? Беднота Парижа. Но Директория учла молчание народа: она поняла, что кровь, пафос, речи, тюрьмы, голод опустошили душу революции. Раз так - с Бабефом нечего церемониться.

Другое дело - Друэ. У этого человека - мыслей немного. Когда он должен был выступить в «совете пятисот», Бабеф написал ему речь. Но Друэ ее прочел. У Друэ громкий голос. У него и громкое имя. Он связан с Баррасом. Ко всему, он отчаянный человек. Если его прижать к стенке, он будет, разумеется, защищаться. Он знает многое о повседневной жизни Люксембурга: интриги, взятки, предательства. На воле Друэ теперь безвреден. Что он без Бабефа? - парадный мундир в сундуке. Но на суде Друэ опаснее всех. Те просто санкюлоты, а это - депутат, герой, узник Шпильберга, общий любимец. Лучше бы без Друэ!..

Дело шло своим порядком. Перед Директорией встал вопрос о суде. Только не в Париже!.. Здесь Друэ помог. Он - депутат, следовательно, дело подсудно Верховному суду республики, который должен заседать на известном расстоянии от резиденции правительства. Директоры занялись географией: «Бурже? Вандома? Амьен?» Даже в выборе города им трудно было сговориться. Наконец они остановились на Вандоме: город тихий, большие казармы, в которых можно разместить несколько полков. Притом в Вандоме мало патриотов.

Но что делать с Друэ!.. Правда, Летурнер твердил одно - «расстрелять». Министр полиции Кошон, который теперь окончательно договорился с роялистами, хотел раздуть дело. Следует воспользоваться случаем и припутать к заговору всех бывших якобинцев, в первую очередь Тальена и Фрерона. «Герой прериала» Тальен и вождь «золотой молодежи» Фрерон для роялистов оставались «якобинцами». Здесь-то Баррас не вытерпел: Тальена? За что? За прошлое? Но ведь так они заутра потребуют суда и над Баррасом!.. Снова происки Карно! Пусть судят «равных» - черт с ними! Виконт Баррас не анархист. Но нечего припутывать Тальена... Друэ ошибся. Его не мешает пожурить. А судить

его нельзя. Ведь это цепь: за Друэ - Тальен, за Тальеном - Баррас, Рейбель, Фуше...

Заседание Директории. Вбегает Кошон:

- Несчастье! Друэ убежал...

Летурнер рычит:

- Расследовать! Здесь, наверное, нечисто. Как можно убежать из тюрьмы?

Почему его не содержали в Тампле?

Баррас молчит. Он привык к выходкам Летурнера: грубиян... Кошон не может успокоиться:

- Я тоже убежден, что здесь заговор. Сторож его видел в шесть. А в половине восьмого - камера пустая. Он никак не мог за это время перепилить решетку. Потом спуститься тоже немыслимо. Сорок пять футов...

Баррас наконец вмешивается:

- Я не понимаю вашего волнения, гражданин министр. Друэ пытался убежать из австрийского каземата. Меня не удивляет, что он убежал из Аббэ. Это храбрый человек. Так или иначе, нам это на руку: процесс Бабефа без Друэ пройдет куда спокойней.

Может быть, Карно в душе и не был согласен с Баррасом, но ему оставалось только примириться: Друэ - на свободе. Весь Париж смеялся: разыграно по нотам! Когда Друэ спокойно вышел из тюремных ворот, его остановил патруль:

- Не видали ли вы арестанта, который удирал что было мочи?

- Нет. Впрочем, это не в моих принципах задерживать спасающихся...

Для вида Друэ искали. И конечно, не нашли: Баррас ведь был как-никак директором, а в Люксембургский дворец агенты Кошона не заглядывали.

Убежать из тюрем республики без помощи свыше было трудно. «Равные», оставшиеся на свободе, пытались устроить побег Бабефа и его товарищем. Они подговорили стражу, но один из часовых выдал всех.

Потянулись долгие месяцы ожидания, бездействия, одиночества. Бабефу удалось установить переписку с женой и с Лепелетье. Он знал, как встретил Париж арест «равных», клевету газет, послания Директории. Впервые он узнал новое чувство - отчаяние. Вокруг Бабефа образовалась пустота. Демократы-журналисты, еще недавно поддерживавшие «Пантеон», теперь старались доказать в своих газетах, что Бабеф шпион. Лувэ писал: «Это агент роялистов, как Марат и Геберт». Реаль: «Бабеф наемник иностранных дворов». Дюбуа: «Бабеф получил из Лондона несколько тысяч гиней. Напрасно, Питт, ты соришь деньгами!»... Так писали о Бабефе не роялисты, даже не сторонники Карно, но демократы. Имена некоторых заговорщиков остались неизвестными Гризелю. Они уцелели. Но они молчали. За честь Бабефа не вступился никто.

Бабеф мечтал о всеобщем благоденствии. Бабеф верил в добрую природу человека. Теперь он видит только низость, трусость, клевету врагов, молчание друзей. Он полон отчаяния, такого же сильного и стремительного, как недавняя его вера. Он отворачивается, когда тюремщик приносит миску с супом: не может глядеть на людей. Он даже не думает о своей жене и детях. А там за стеной горе, слезы. Стойко сносила жена Бабефа все мытарства. Теперь и она пала духом. Ей не только нечем кормить детей, ей незачем теперь жить: ее мужа арестовали, и все говорят, что на этот раз ему отрежут голову. Она пишет Бабефу: «Я не могу так жить. Я хочу умереть».

Ответ Бабефа жесток и страшен. Надо знать, как привязан этот человек к своей семье, как неизменно заботился он о здоровье жены, о воспитании детей, сидя в тюрьме или в добровольном заточении, чтобы понять ужас коротких сроков: «Любовь к отечеству заглушает во мне все другие чувства. Я с тобой всегда откровенен, я тебе говорю прямо, мы якобинцы, мы бешеные, мы вовсе не нежны,

нет, напротив, мы дьявольски черсты. Ты говоришь, что ты решила умереть? Что же я могу тебе ответить? Умри, если ты этого хочешь»...

Проходит вспышка. Бабеф жадно ищет в других стойкости, в себе нежности. Рядом с ним сидит Буонарроти. Они разлучены. У Буонарроти тоже осталась на воле жена. Ее зовут Терезой. Она молода, неопытна, одинока. Буонарроти не только красив и строен, - все в нем гармонично. Он не знает отрешенности, наготы, неистовства Бабефа. Он предан идее равенства и спокойно думает о смерти. Но гражданские страсти не убили в нем другой любви, образ Терезы не покидает его камеры. На клочках белья он пишет нежные послания: «Дорогой предмет моей любви. Твое горе причиняет мне столько мучений! Будь стойкой, как я. Моя любовь к тебе никогда не была так горяча. Бедная моя Тереза! Я плачу, думая о тебе. Если бы я мог достать твой портрет!.. Тирания хочет меня уничтожить, но верь мне, я не падаю духом. Увы! Прощай! Мы страдаем за истину и за справедливость».

Читая эти полуустертыые каракули, вшитые в штаны или в жилет, Тереза плачет, плача она улыбается: такой любовью женщина вправе гордиться.

Время идет. Вот уж мессидор. Душное лето вползло в камеры. Бабеф теперь спокоен. Это спокойствие отчаяния. Он пишет своему другу Лепелетье: «Не пугайся, увидев эти строки, написанные моей рукой. От меня все бегут... Но совесть говорит мне, что я чист»...

Он пишет и думает: кто знает, может быть, и Лепелетье предаст меня? Нет, Лепелетье честен, прям душой! Он пишет: «Когда зароют в землю мое тело, что от меня останется, кроме множества проектов, заметок, планов?.. Настанет время, люди снова начнут обдумывать, как бы утвердить благоденствие человечества, тогда ты сможешь разобраться в этих клочках бумаги и представить всем последователям равенства мои мысли, которые развращенные умы теперь называют праздными мечтами».

Он говорит о предательстве демократов, о клевете, о том, что никто его не хочет понять. Он поручает другу Лепелетье жену и детей. Старший сын хочет быть рабочим, печатником. Бабеф просит Лепелетье помочь ему в этом. Младший? Он еще слишком мал, чтобы гадать... Пусть оба будут честными рабочими!..

Для себя Бабеф просит только одного: его должны скоро увезти в Вандому. Нельзя ли помочь жене и детям последовать за ним? Он хочет, чтобы они были поблизости до последней минуты...

Здесь Бабеф кладет перо. Он долго ходит по камере опустив голову. На него никто не смотрит: ни тюремщики, ни история. Бабеф, Франсуа, добрый Франсуа может теперь спокойно плакать...

Поздно ночью он приписывает: «Мои мысли были с ними до последнего предела, до небытия»... И черное душное небытие входит в окно, в глаза, в душу. Может быть, погасла незаправленная лампа? Или арестант Бабеф, измучившись ходьбой, уснул?..

Наконец настал день отъезда. Арестованных посадили в клетки, специально для этого приготовленные. Года три тому назад в Париже все только и говорили, что о зверстве австрийцев, которые посадили Друэ в клетку. Это было выдумкой революционных кумушек. То, что приписывали австрийским тиранам, осуществило правительство республики. Подсудимых выставили, как диких зверей, на посмешище толпы.

Рабочие, глядя на Бабефа в клетке, ругались, отворачивались или кричали с угрюмой лаской: «Гракх, не унывай!..» А посетители «Пале-Эгалите» - спекулянты, журналисты, еще вчера требовавшие казни всех аристократов, новоиспеченые богачи, франтихи, молодые люди, скрывающиеся от военных наборов, - вся эта

разряженная и надущенная чернь улюлюкала: «Смерть грабителям! Смерть террористам!»

Сзади шли женщины и дети. Тереза Буонарроти - аристократка и Мария Бабеф - прислуга, взявшись за руки, сближенные одним огромным горем. Они шли три дня. Когда падала ночь, они плакали; они были женщинами. Днем они улыбались: ведь на них глядели те, из клеток. Они были не только женщинами.

Подлое и высокое время!

## 20

После ареста вождей патриоты растерялись. У них больше не было ни организации, ни веры. Один говорил другому: «Нельзя сидеть сложа руки! Надо выступить!..» Другой охотно соглашался, однако оба продолжали ругать Барраса в каком-нибудь кафе, окруженные агентами Кошона.

Конечно, раскрытие заговора не могло уничтожить недовольство народа. По-прежнему рабочие толпились вечерами на Мостах. Они кричали:

- Робеспьер или король!.. Нам все равно кто, лишь бы было что жрать!..

По-прежнему Париж казался вулканом. О том, что этот дымящий вулкан потухает, догадывались немногие.

Директория теперь заигрывала с роялистами, как после венденьера заигрывала с патриотами. Торговались о высоких принципах и о доходных местах. Новых покупателей зазывал Карно: он назначал роялистов администраторами, комиссарами, судьями. Эмигранты перестали скрываться. Они открыто показывались в парижских салонах. Церковь снова предпочла мученичеству и катакомбам угрозы: перед пасхой торговцы Парижа получили анонимные записочки: «Если вы не закроете вашей лавки в праздник, вы будете причислены к якобинцам». Все влиятельные газеты были в руках противников республики. Если роялисты не пытались захватить власть, то только потому, что были охвачены общей апатией.

Прочитав письмо Бабефа, директоры расхохотались. Теперь те же слова повторял не анархист, но республиканский генерал Гош: «Раскройте глаза! Друзья вас покинули. Надо спасать республику. Почему говорят о террористах? Где они? Я вижу повсюду врагов - шуанов». На улицах Парижа начали появляться белые флаги. Директория ответила пышным празднованием годовщины девятого термидора. Горбун Леревельер особенно любил помпезные шествия, гирлянды, колесницы, фейерверк. С восторгом он надел парадную шляпу. Народу собралось немного. Когда граждане директоры крикнули «да здравствует республика!», их никто не поддержал: друзья республики ненавидели Директорию, а враги предпочитали иные, более откровенные лозунги.

Полиция, разумеется, работала. Перед роялистами она пасовала: у роялистов были деньги и связи. Зато арестовывали крупных преступников. Так, например, в тюрьму была доставлена бывшая кухарка бывшего графа Шалябра, у которой нашли на груди портрет злодея Марата.

Не все бывшие кухарки или бывшие дворники продолжали чтить память «друга народа». Некоторые вышли в люди и презирали свое прошлое. Они хорошо зарабатывали. Гражданин Пио в течение одного года поставками и спекуляцией нажил два дома в Париже, сто десятин земли в Курбвуа, дом в Пасен за семь миллионов ассигнациями, наконец два колониальных магазина, один в Марселе, другой в Бордо. Таких Пио было немало. Они поддерживали Директорию против санкюлотов и против эмигрантов.

Сытый Париж продолжал увлекаться танцами и спортом. Число публичных балов дошло до тысячи восемисот.

Теперь эта страсть захватила и рабочих. В накуренных подвалах Сен-Антуапа вместо якобинских речей раздавались звуки лансье. На состязания атлетов, на

кельтские игры собирались десятки тысяч зрителей: жить, бегать, прыгать, кружиться, не думать, не думать ни о чем!..

«Маленький Кобленц» был взволнован новой модой: Тереза Тальен объявила рубашку глупым предрассудком. Рубашка только скрывает античную прелест тела. Ее примеру последовали все модницы. «Бесштанников» сменили «безрубашницы». Только кольца, браслеты, ожерелья, запястья выдавали теперь общественное положение подруги виконта Барраса. Увидев ее как-то, гражданин Талейран почтительно вздохнул: «Нельзя быть богаче раздетой»...

Появилось множество новых выездов, пешеходы жаловались: опасно переходить улицу - задавят. Против входа в Люксембургский дворец часто собирались кучки зевак. Они смотрели на рысаков, на кареты, на разодетых кавалеров и на раздетых дам: это съезжались приглашенные - сегодня бал у виконта Барраса. Среди зевак были и те, что еще недавно здоровались запросто с якобинцем Баррасом. Теперь у них не было ни службы, ни хлеба. Они ворчали. Их было куда больше, нежели приглашенных, и в Париже было куда больше голодающих, нежели танцующих, но голод нем, а у музыкантов- барабаны и трубы.

Патриоты продолжают толковать: «Надо бы выступить!..» Они ждут, кажется, чуда. Они напуганы и мрачны. Но вот вам чудо!.. Разве не чудом следует назвать важную новость, которую один патриот передает другому: «Гренелльский лагерь за нас. Солдаты и офицеры все только ждут, чтобы мы пришли к ним брататься. Они нас примут с распростертыми объятьями. Они свергнут Директорию. Мы должны пойти в лагерь!»

Агенты полиции, разумеется, поддакивают: «Вот это идея!..» Кто знает, может быть, и «чудо» родилось в кабинете министра полиции гражданина Кошона?..

Директория тотчас узнала о новом плане патриотов. Карно обрадовался: «Необходимо нанести решительный удар анархии». Он мало говорил па заседаниях «пятерки». Он предпочитал беседы с гражданином Кошоном глаз на глаз. Что же делал Баррас? Как всегда, юлил, увертывался, колебался. Карно он говорил: «Да, необходимо раздавить». В душе он боялся нового успеха Директории. Так ведь Карно завтра станет диктатором...

Среди патриотов теперь не было ни Бабефа, ни Буонарроти, ни Жермена. В кафе обсуждались списки революционного правительства. Они были наивны и пелены: рядом с Бабефом - столько раз клеветавший на него Тальен, рядом с безупречным Жерменом - продажный Фрерон. Вот эти списки и смущали Барраса. После раскрытия «заговора равных» он увидел, что на «бабувистов» ему надеяться нечего. «Равные» готовили ему не высокий пост, но пулью. На одном из листков, найденных у Бабефа, значилось: «Убить пятерку». Теперь, однако, Бабеф сидел в тюрьме. Патриотами руководили другие люди. Тальен и Фрерон - старые друзья Барраса. С ними легче говориться, нежели с тупоголовым Карно.

Баррас заранее себя выгораживал: «Надо раздавить». Но тихонько через своего приятеля, мастера сентябрьских убийств, испытанного провокатора Мегэ, он подзадоривал патриотов. Он даже передал им двадцать четыре тысячи франков «на угощение солдат». Здесь его хитрость переходила в глупость. Предстояла борьба. Что же, он поддерживал и тех и других...

Кошон также передавал патриотам деньги через провокаторов, но он-то по крайней мере не колебался. Особенно отличался его агент, некто Романвиль, который бегал по Парижу без устали:

- Идем брататься с гренелльцами! Они нас ждут.

Патриоты не сомневались в искренности этих призывов. Они знали, что в Гренелльском лагере стоит батальон драгун, составленный из бывших солдат «полицейского легиона». «Полицейский легион» издавна славился якобинским

духом. На нет о в свое время надеялись «равные». Директории удалось расформировать легион, но солдаты остались солдатами. Они громко роптали: «Черти, не платят жалованья!..» В окрестных кабачках «Золотое солнце» или «Сельская кофейня» не раз они говорили рабочим: «Скоро мы им покажем...» Они громко вздыхали о тех временах, когда Робеспьер держал проклятых аристократов в страхе. Кто же поможет патриотам, если не эти храбрые драгуны?..

В Париже тихо. Спектакли уже кончились. Патрули останавливают редких прохожих. Зато шумно в предместье Гренелль. Сегодня патриоты тут. У них нет ни ружей, ни сабель. Они пришли брататься с солдатами. Они хотят спасти революцию песнями. Вот-вот солдаты подхватят припев: «К оружию, граждане!..» И тогда - победа. Тих лагерь. Солдаты уже спят. Только кое-где полуночники режутся в карты или же рассказывают непотребные истории о вожирарских девках: «Ну и фокусницы!..» Толпа вокруг лагеря растет. Сколько здесь патриотов? Одни говорят, триста, другие - пятьсот, третьи - тысяча.

Вдруг толпа расступается. Крики: «Браво», «Да здравствует отец революции», «Веди нас против тиранов». Это - депутат Друэ, он верхом, его окружают друзья. Песни становятся громче, лица веселее: «Друэ с нами!» Патриоты хотят подойти к палаткам, где стоит Гарский батальон, там у них много верных друзей.

Ночь темна, осенняя ночь. Где здесь опознать: свои или враги?

- Эй, братья!..

Гражданин Кошон обо всем позаботился. Он приказал в последнюю минуту увести Гарский батальон, а на его место поставить другую часть. Патриоты поют, зовут:

- Идите с нами! *Vive Liberta и Век Просвещения, 2009*

Они перед палаткой эскадронного командира Мало. Голоса:

- Драгуны Двадцать первого!

- Да здравствуют драгуны! Долой тиранов! Гражданин Мало - патриот. Он не пойдет против народа... Мало показывается. Он машет саблей. Вслед за ним выбегают драгуны. Они вскочили прямо с постелей. Некоторые в рубашках. Давка. А патриоты все поют - что же им еще делать?.. Мало видимо колеблется, несмотря на все полученные инструкции. Он опускает саблю и спрашивает:

- Оружия нет?..

Тогда один из полицейских стреляет. Пуля пролетает над головой Мало. «Нападение!» Мало командует:

- На седла! Руби!

Темна ночь. Куда бежать?.. Патриоты больше не поют: они падают один за другим под ударами сабель. Лошади давят раненых. Крики. Несколько одиноких отчаянных выстрелов... В последний раз вопль: «Братья, опомнитесь!» - и пронзительное ржанье лошадей.

Те, что не успели подойти к лагерю, видели, как по пустым улицам проскасал Друэ. Эта ночь была его последней ставкой: «Если не победим, уеду в Индию...» Друэ не хотел умирать, но он и не мог жить спокойной, будничной жизнью. Он мчался прямо от Гренелльского лагеря за границу, в Геную, в Индию - куда угодно, только дальше от Парижа, хоть к черту на рога!..

А солдаты продолжали рубить, колоть, добивать безоружных патриотов. Генерал в отставке, якобинец Жавог пытался организовать сопротивление, но перепуганные патриоты теперь бежали, не слушая ничьих призывов. Другой генерал, Лей, проник в казармы инвалидов, где стояли гренадеры: «Выходите на помощь народу». Солдаты мялись: «Конечно... да только ничего из этого не выйдет...» Тогда бойкий сержант, давно мечтавший об офицерском чине, подошел к генералу Лею:

- Идем-ка со мной!.. Куда?.. Увидишь куда... Там разберут...

Еще иные отбивались, кричали, уговаривали. На набережной Вольтера, надвинув низко шляпу, чтобы никто не мог его узнать, стоял некий гражданин, выжидая, чем кончится Гренелльский поход. Он был осторожен, не хотел рисковать собой. Остановит его здесь патруль, он спокойно скажет: «Гуляю». Около часу ночи, когда солдаты заканчивали уже работу, к нему прибежал, весь запыхавшись, какой-то паренек: «Ничего не вышло... разогнали...» Осторожный гражданин пожал плечами: «Болваны! трусы!» - и быстро пошел по направлению к своему дому. Это был не кто иной, как Фрерон, оставленный всеми - роялистами и патриотами, Фрерон, который еще недавно водил за собою банды нарядных погромщиков. Теперь он мечтал о победе якобинцев: его не выбрали в «совет пятисот», у него не было ни хорошего места, ни денег, ни приверженцев.

Фрерон, конечно, спокойно дошел до дому. Тем временем агенты Кошона устроили охоту на анархистов. Их ловили в домах, на улицах, на пригородных дорогах. Уже светало, к сыщикам присоединились добровольцы - роялисты или просто буржуа, перепуганные воззваниями «равных»: «Бабеф ведь хотел всех ограбить!»

Генерал Жавог успел добраться до Монружса. Он зашел в маленький кабачок, чтобы передохнуть. Там его и накрыли. На нем нашли трехцветный шарф депутата Конвента. Он гордо ответил:

- Это все мое добро, все, что осталось у меня от революции.

Жавога обыскали. Обнаружив в его кармане перочинный нож, полицейские записали: «Гражданин Жавог схвачен с оружием в руках». Они выполняли приказ Кошона.

Полицейские арестовали «бабувиста» Бертрана, депутатов Конвента Кюссэ и Гюгэ, много рабочих из Сен-Антуана и Сен-Марсо. Всего было арестовано сто тридцать два человека. Провокатор Мегэ, конечно, удрал. Некоторые видели, как он переплыл через Сену. Многие пытались спастись вплавь, удалось это только Мегэ. Может быть, он был хорошим пловцом... Во всяком случае, он был приятелем Барраса.

Накануне вечером Кошон доложил гражданам директорам, что ожидаются небольшие беспорядки. Войска настроены прекрасно, и правительству ничто не угрожает. Рейбель облегченно вздохнул:

- Ну, раз все благополучно, я еду в Аркейль...

Рейбель предпочитал дачную идиллию государственным заботам. Леревельер лег преспокойно спать. Он был разбужен под утро необычайным шумом. Он выбежал полуодетый, с саблей в руке. Во дворе он увидел солдат, а среди них Карно и Летурнера. Леревельер обиделся:

- Почему же меня не разбудили раньше?..

Карно стал его успокаивать: «Мы люди военные...» Он, конечно, не признался Леревельеру, что склонный к философия горбун только помешал бы ему руководить этой анекдотической битвой, где целые эскадроны были брошены против толпы безоружных патриотов.

- Теперь опасность миновала.

- А Баррас?

- К Баррасу стучались. Никто не ответил. Баррас показался только после обеда, когда арестованных уже гнали по улицам Парижа к тюрьме Тампль. Леревельер удивленно спрашивает:

- Почему вы не вышли ночью, когда к вам стучались?..

Глупый вопрос - Баррас не такой человек, чтобы показываться в середине представления... Он, простодушно улыбаясь, отвечает:

- Наверное, крепко спал. У меня вообще хороший сон...

Он не добавляет, что хороший сон присущ всем людям, у которых совесть чиста. Трупы уже отвезены в мертвецкую. Арестованные шагают по бульварам, и дамы, те, что без рубашек, пресловутые красавицы Директории, кричат:

- Смерть кровожадным собакам!..

Рейбель вернулся свеженький из Аркейля, Баррас, высившись, был готов к работе, Карно и Летурнер тоже успели отдохнуть после ночных трудов. Началось заседание Директории.

- Уничтожить!..

У Жавога нашли нож, у одного рабочего топор, двум другим успели вовремя подбросить ружья. О чем тут спорить!.. Директория постановила предать всех арестованных военному суду, как захваченных с оружием в руках. Кроме того, она обратилась к гражданам с очередным посланием: «Мятеж анархистов подавлен благодаря героизму республиканских войск».

Известно, что военный суд - суд скорый. Директория торопилась. Возле моста Неф рабочие кидали камнями в полицию. Тюрьма Тампль была окружена толпою граждан, ругавших «пятерку».

Суд приговорил двадцать шесть человек к расстрелу, большинство были рабочие: сапожники, шорники, шапочники, читатели «Трибуна народа», увлеченные проповедью равенства. Гракх Бабеф был далеко, в Вандоме. Но тень его присутствовала в Тамиле, когда друг перед другом встали военные в чересчур новых мундирах, оплот порядка, скорые судьи и рядом, за решеткой, последние санкюлоты.

Один из осужденных, сапожник Бонбон, крикнув «да здравствует равенство», бросился из окна башни. Приговор, однако, остается приговором: труп Бонбона повезли на место казни - расстреливать.

Толпа роптала: «Это все бедные люди, почему их убивают?» Кто-то крикнул:

- Это не суд, а бойня!.. Я знаю одного из осужденных, он честный гражданин...

Стоявший рядом гусар тотчас разрубил смельчаку череп. Некоторых осужденных везли связанными на телегах. Они лежали и пели: «К оружию, граждане»... Кого они звали: зрителей, вандомских узников, мертвцев?.. Некоторых гнали пешком. Маляр Ганья шел, среди других заключенных, по Итальянскому бульвару. Здесь не было ни одной пары сострадательных глаз. Только молодая женщина, которая шла рядом, не спускала глаз с Ганья. Это была его жена. Когда осужденные дошли до «Итальянского театра», Ганья, оттолкнув солдата, бросился бежать. Он вбегает в дом. Лестница. Коридор. Кажется, спасен! Здесь мастерская седельщика, его брата. Но солдаты находят беглеца. Они бьют его шашками, окровавленного кидают на телегу. Жена все видит. Жена идет рядом. На телеге ком мяса, лохмотья в крови, но оттуда раздается человеческий голос. Напрягая все силы, полумертвый Ганья поет: «Нет, лучше умереть, чем быть рабами...»

Со страхом прислушиваются к пению завсегдатаи «Маленького Кобленца».

- Вы слышите?.. Все-таки эти разбойники не трусы. Они умеют умирать.

Кажется, чего бояться: ведут людей на казнь. Париж спокоен. Партия порядка торжествует. Но дамы отворачиваются:

- Вы видели, какие у них страшные глаза? Это восстали из гроба все приверженцы проклятого Робеспьера...

Нечего скрывать: они боятся - ведь эти люди еще умеют умирать. А новый Париж умеет лишь жить, жить жадно и подло, жить во что бы то ни стало.

Из всех осужденных толпа хорошо знает только одного - бывшего генерала Жавога. Это не рабочий, уверовавший в святое равенство, а бывший член Конвента, вместе с Кутоном усмирявший мятежные Лион и Бурж. Он приказывал крестьянам в неделю собрать хлеб, смолоть зерно и представить муку для

санкюлотов. Крестьяне говорили: «Жавог приказал», - и мука бывала сдана к сроку. Он отдал приказ о разрушении замков близ Макона: «Раздайте камни санкюлотам и помогите им выстроить простые дома». В Сен-Этьене он объявил налог на богачей: у кого миллион, вносит восемьсот тысяч, у кого сто тысяч, вносит двадцать. Жавог остался верен идеям и нравам тех времен. Он не грабил, как другие. Все его богатство действительно состояло из трехцветного шарфа. Он хотел вернуться к себе в Монбрizon, но его отец, старый нотариус, умолял сына оставаться в Париже: «Здесь тебя тотчас же убьют».<sup>42</sup>

Кутон погиб десятого термидора. Жавог уцелел. Вот он идет на смерть. Он ступает бодро, поет. Немало людей он послал на эшафот. Он проходит перед толпой, как память о 93-м. Может быть, и он вспоминает прошлое: в Лионе революционный комитет однажды присудил к гильотинированию шестьдесят человек - среди них были не только аристократы, но и жирондисты, и люди, случайно взятые по доносам. Выслушав приговор, осужденные запели: «Умереть за отечество - нет удела завидней...»

Осужденных привели к Гренелльскому лагерю. Взводом командовал офицер Лилле. В последнюю минуту он никак не мог выговорить «пли». Он отвернулся, и толпа увидела перекошенное ужасом лицо.

Гренелльский поход был закончен. В театре «Фейдо» нарядная публика усиленно аплодировала, когда одна из актрис сказала (что и значилось в ее роли): «На этот раз мы спаслись». Следует только добавить, что победители работали в поте лица; ближайшее заседание Директории было посвящено вопросу, какому наказанию подвергнуть офицера Лилле, который проявил при исполнении своих обязанностей недопустимое колебание.

## 21

Вандома - тихий городок, известный только старым собором и жареной колбасой. К началу суда он был неузнаваем. Повсюду палатки, ржание коней, патрули, костры, склады оружия. Говорили, будто процесс продлится чуть ли не полгода. По окрестным дорогам тянулись возы с поклажей: аристократы, а также граждане поосторожней покидали город. Кто знает, чем все кончится? Ведь у Бабефа немало приверженцев... Город был оцеплен. Въезд запрещен. Подсудимых разместили в бывшем аббатстве Трините, а часовню приспособили для заседаний Верховного трибунала. Окна камер помимо решеток были наглухо забиты деревянными щитами. Бессменно полтораста солдат несли караул. Комендант приказал поставить шесть пушек жерлами на шесть окон: при попытке бунта - орудийный залп.

Из камер доносилось только пение. Арестанты пели хорошо, и вандомские патриоты (как-никак были патриоты и в Ван-доме), собираясь на соседних холмах, слушали «песню марсельцев». Патриоты в умилении аплодировали.

Суду предали шестьдесят пять граждан, из них восемнадцать заочно. Здесь были и вожди «равных», и рядовые заговорщики, и люди вовсе непричастные к делу, схваченные по оговору. На предварительном следствии Бабеф и его ближайшие друзья держались гордо. Не думая отрицать своего участия в заговоре, они отвечали: «Мы не арестованные, мы военнопленные».

В Вандоме все подсудимые впервые встретились. Как выработать общий план защиты?.. Судили их на основании слов Гризеля, подкрепленных кипой бумаг.

<sup>42</sup> Клод Жавог (29.08.1759, Бельгард-ан-Форез, Луара, - 10.10.1796, Париж). Старший сын в семье комиссара вод и лесов, нотариуса и прокурора, получил образование в университете и лицензию на адвокатскую деятельность. В 1790-91 гг. был избран командиром отряда Национальной гвардии и администратором дистрикта Монбрizon, в 1792 г. – депутат в Национальном конвенте. Левый монтаньяр, демократ, эгалитарист, в миссиях активно проводил политику таксации цен, поддерживал народные общества и клубы. После термидорского переворота стал для реакционеров одной из главных мишеней среди якобинцев, дважды был арестован и отбывал срок в тюрьме.

Патриоты, менее скомпрометированные, уговаривали руководителей: «Отрицайте наличие заговора. Среди присяжных, наверное, имеются республиканцы. Тогда им легче будет оправдать, если не вас, то нас...» Бабеф долго колебался: прирожденная гордость и человеческая чувствительность боролись в нем. О себе он не думал: его ответы на следствии достаточно ясны. Дартэ был против замалчивания: «Кровь патриотов только разожжет огонь в сердцах народа». Бабеф возражал: «Мы разбиты. Предстоит длительная передышка. Мы вправе пожертвовать собой, но не об этом нас спрашивают. Что будет с другими?.. Эти тридцать патриотов могут быть спасены, если я скажу: «Да, я против вас. Я считаю восстание законным. Я хотел бы примкнуть к заговору. Но эти списки - не списки заговорщиков». О, насколько милее раскрыть сейчас всю правду! Однако это противно долгу патриота. Примирись, Дартэ, - мы должны теперь пытаться спасти друзей...»

«Равные» решили, отрицая заговор, признать, что если подобный заговор существовал бы, то они все стали бы заговорщиками. Бабеф начал готовиться к защитительной речи. Он хотел еще раз изложить перед современниками и перед потомством идеи «Общества равных». Директория уверяет, что он подкуплен роялистами, что он призывал к убийствам и грабежам. Он превратит скамью подсудимых в кафедру. Он раскроет труды бессонных ночей. Заговор против Директории в флореале четвертого года не удался. Заговор парода против роскоши, безделья, преступлений должен восторжествовать.

Председатель Верховного трибунала, гражданин Гандон, был исполнительным чиновником. Во всех спорных вопросах он становился на сторону обвинения. Но, по природе человека вялый и тупой, он не раз пасовал перед подсудимыми, из которых многие куда лучше его знали все параграфы уложения. Тогда его выручали «национальные обвинители» Вильяр и Бальи. Вильяр мечтал о кресле депутата, речами на суде он надеялся привлечь к себе симпатии роялистов. Бальп, хоть и любил поговорить о «республиканских идеалах», был известен ненавистью к якобинцам. Когда Бабеф произнес слово «революция», Бальи тотчас прервал его: «Революционные бури давно улеглись»...

Здесь судебное разбирательство превращается в политический диспут. Дартэ кричит:

- Вы слышите? Он судит уже не нас, а революцию. Мы люди Четырнадцатого июля...

Не смущаясь, Вильяр отвечает:

- Мы тоже.

Этим Вильяр хочет еще раз напомнить: судьи в парадных мантиях, в красных тогах, отнюдь не судьи Людовика XVIII, нет, они судьи Директории. Они всем обязаны мужеству санкюлотов. Они судят тех, кто им когда-то помог. Спасибо за 14 июля!.. А Вандомское аббатство охраняется куда лучше Бастилии...

Главный защитник, гражданин Реаль<sup>43</sup>, был хорошим адвокатом и хорошим дельцом. Несколько месяцев тому назад в своей газете он уверял, что Бабеф

<sup>43</sup> Пьер-Франсуа Реаль (1757, Шату, - 1834, Париж). Юрист, политик. Сын сторожа охотничьих угодий, третий из двенадцати детей в семье. Благодаря покровительству Бертиена, быв. генерального контролера финансов, молодой Реаль получил должность прокурора суда Шатле (1788). Летом 1789 г. примкнул к революционному движению, был избран в муниципалитет, в период реакции 1791 г. отстранен от активной деятельности. Вернулся к политике после восстания 10 августа 1792 г. По своим политическим убеждениям он странно приближен и к Бриссо, и к Шометту. Арестован после казни «эбертистов» в марте 1794 г., освобожден после термидорского переворота.

В 1795. г. редактирует оппозиционную газету. Участвовал в подготовке переворотов 18 фрюктидора и 18 брюмера. Как полагают, именно он способствовал знакомству и сближению Н.Бонапарта и Ж.Фуше. В дальнейшем, в период Консулаты и Первой империи, между Фуше (министром полиции) и Реалем

получает субсидии от Питта. Теперь он решил защищать «бабувистов»: можно ли пропустить столь громкий процесс?.. О нем еще в начале революции Шенье сказал: «И Реаль?.. Что же - Реаль реализует»... Растворенный адвокат решил из очередной трагедии извлечь пользу.

Среди подсудимых особенно смущал Реала угрюмый Дартэ. Он так и не согласился с доводами товарищей. Он решил молчать. На вопросы председателя он отвечал коротко:

- Не вам меня судить.

Защищаться? Он только пожимал плечами:

- Когда приверженцы равенства отданы на милость заведомым убийцам, когда гонения - удел всех добродетельных людей, которые пытались возродить Францию, когда во имя справедливости совершаются преступления, когда в почете подлость, измена, разврат, разбой, когда вся страна покрылась трауром, когда больше нет отечества, тогда смерть - благодеяние.

Бабеф не был оратором. Он должен был писать свои речи. Зато красноречивый Жермен не давал покоя обвинителям.

В зал входит Жорж Гризель. Он горделиво оглядывается. Он теперь больше не трусит. Разве две сотни часовых и шесть пушек не охраняют его драгоценную жизнь? Охотно отвечает он на расспросы любопытных журналистов. Правда, он еще не генерал. Зато он подписывается в газете: «Главный свидетель обвинения» - хоть в чем-нибудь он главный. Гризель презрительно смотрит на Бабефа: ну, поцеловал!.. Он ждет от председателя комплиментов: он ведь не корыстный доносчик, он достоин гражданского венка.

Председатель одобрительно кивает головой: перед ним герой. Тогда встает Жермен:

- Нет, Жорж Гризель, ты не удостоишься лаврового венка, нет Жорж Гризель, ты не удостоишься и венка из терний - он наш этот венок. Тебе же уготован другой венок - из омелы, римляне украшали им головы рабов, чтобы продать их на несколько динаров дороже.

Все подсудимые держались дружно. Против Антонеля не было никаких улик: случайно о нем не знал Гризель. Но Антонель, этот флегматик, издавна равнодушный к смерти, маркиз, уверовавший в благородство санкюлотов, не хотел избежать общей судьбы. Он неоднократно заявлял: «Я - с ними».<sup>44</sup> Здесь чувствовалась общность не политической партии, но гонимой секты, где все - братья, все равны: певица из «Китайских бань» Софи Ланье и «трибун народа», маркиз де Антонель и слесарь Дильте.

Каждый вечер, когда председатель объявлял заседание закрытым, подсудимые начинали петь гимн прериальцев: «Восстать, павшие герой!.. Этих

## Vive Liberta и Век Просвещения, 2009

<sup>44</sup> Пьер-Антуан Антонель (17.06.1747, Арле, - 26.11.1817, там же) - сын шевалье Пьера-Антуана д'Антонеля, сеньора Пине, и Терезы-Агаты де Сабатье де л'Армелье. В 1762-1782 гг. – на военной службе; в 1782-89 гг., по-видимому, выйдя в отставку, жил в Париже, изучал философию и современную литературу. В 1789 г. становится первым революционным мэром Арле, ведет организационную работу по выполнению декретов Собрания, зарекомендовав себя как демократ и антиклерикал. Депутат Легислативы (Законодательного собрания)

С осени 1793 г. Антонель – присяжный Чрезвычайного революционного трибунала. В мае 1794 г. был арестован; фигурировал на процессе над бывшими судьями, присяжными и служащими Трибунала весной 1795 г., был оправдан. Возможно, принимал участие в подавлении вандемьерского мятежа. В 1795-99 гг. занимался литературной и журналистской работой. Оправдан на Вандомском процессе. После переворота 18 фрутидора дважды был избран депутатом в Совет Пятисот, и оба раза результаты выборов аннулированы. После переворота 18 брюмера находился под постоянным полицейским надзором, был вынужден уехать в Арль и вести полузатворническую жизнь. В 1814 г. приветствовал реставрацию из-за ненависти к императору и опубликовал брошюру, высказавшись в пользу конституционной монархии.

Последние годы он провел в Арле, занимаясь своим скромным хозяйством, уважаемый и почитаемый земляками.

все сроднились с мыслью о близкой смерти; через головы судей или жандармов они беседовали с великими тенями недавнего, но уже далекого прошлого.

Бабеф восклицает:

- Гужон, Ромм, Субрани, прославленные мученики! Ваши имена раздавались в этих стенах. Мы не устанем их повторять. Мы ежедневно прославляем вашу память пением. Ваша стойкость перед палачами да послужит нам примером! Ревнители святого равенства...

Обвинитель Бан перебивает Бабефа. Тот не слышит.

- Мы стали на ваше место. Мы готовы...

Глаза Бабефа горят. Они смотрят не на присяжных, не на толпу. Они смотрят в прошлое.

Ему не дают говорить. Крик. Пререкания. Угрозы. Суд уходит совещаться. Резолюция: «Подсудимые не имеют права затрагивать посторонние вопросы». Буонарроти улыбается: если революция здесь посторонний вопрос, то почему же их судят?..

Показания Гризеля заняли два дня. Предатель рассказал обо всем: о тетушке, о двух обедах - у Карно и у Дартэ, даже о поцелуе Бабефа. Он ни разу не опустил глаз. О том, как швейцар в Люксембургском дворце поддержал его, он, конечно, умолчал. Нет, он не трус! Он чтит память героев древности, и он надеется к ним приблизиться.

Закончив показания, Гризель остался в зале суда. Недалеко от него сидела молодая женщина. Гризель ее сразу заметил: красавица! Кроме героев древности, он любил и слабый пол. Кокетливо оправив волосы, он подсел поближе к красотке. Его, наверное, ждет удача: ведь женщины падки на славу, а он, Гризель, - герой процесса, все парижские газеты пишут о нем. Женщина обернулась. Она взглянула на Гризеля, и Гризель, два дня сносивший презрительные взгляды подсудимых, не выдержал: быстро отсел на заднюю скамью. Это была Тереза Буонарроти.

Когда зашла речь о «Декларации повстанческого комитета», монтаньяр Рикар, чтобы отвести опасность, которая грозила скорее «равным», нежели ему, сказал:

- Может быть, это дело Гризеля?..

- Нет! Автор не должен краснеть за эти строки, - воскликнул Бабеф, - Гризель слишком низок, чтобы написать подобные слова.

Мужество и благородство подсудимых потрясали даже конвойных. Солдаты в городе говорили: «Вот это молодцы!..» Коменданту Вандомы приходилось все время менять воинские части: он опасался бунта.

Некто Гезен вздумал выпускать газету с описаниями судебных дебатов: «Вестник Верховного трибунала, или Эхо свободных и чувствительных людей». В газете печатались подробные отчеты. Редактора вскоре арестовали. Жена подсудимого Диье, а с нею еще одиннадцать женщин были посажены в тюрьму «за подстрекательство к восстанию». Директория торопила гражданина Гандона: скорее!.. Но одно чтение бумаг, найденных у Бабефа, длилось две недели. Вандомский процесс стал новым Конвентом. Председатель, теряя терпение, кричал:

- Замолчите! Кто кого судит; мы - преступников или вы - правительство республики?

На вопрос гражданина Гандона нетрудно было ответить: в Вандоме судили Директорию, и тщедушный Гризель олицетворял здесь предательство - высшую добродетель граждан директоров.

Бабефа спрашивают: «Кто был с вами?» Он удивленно смотрит на председателя:

- Мне непонятно, как можно у человека предполагать заранее отсутствие гражданских чувств.

Председатель, в свою очередь, удивляется: Гризель ему куда понятней. Но в зале аплодисменты. Солдаты выгоняют граждан на улицу. Это рукоплещет Бабефу народ, народ, уже неспособный защитить героев, но еще способный умиляться их добродетелью. Эта третья сторона - не «равные» и не Гризель - только однажды выступила на процессе. Председатель приказал ввести свидетелей обвинения, граждан Барбье и Менье. Оба были солдатами «полицейского легиона», расформированного по приказу Директории. За участие в бунте они попали под суд. Их приговорили к десяти годам тюрьмы и в Вандому доставили под стражей.

В зал входит Менье. Это молодой паренек, щуплый, бледный. Председатель:

- Ваше имя?

Вместо ответа Менье начинает петь: «Восстаньте, павшие герои!»

- Замолчите!

Менье поет. Закончив песню, он говорит председателю:

- Если вы настоящий патриот, эта песня должна вам так же нравиться, как и мне.

- Известны ли вам подсудимые?

- Нет. Вы привели меня сюда, чтобы я мог выказать мое благоговение перед этими защитниками свободы? Скорей отсохнет мой язык, нежели я уподоблюсь презренному Гризелю. Суд палачей осудил меня. Мне грозили пыткой, если я не подпишу ложных показаний. Я пережил минуту постыдной слабости. Я каюсь. Теперь я тверд душой. Обвинитель, гражданин Вильяр - вот этот самый - приходил ко мне в тюрьму. Он говорил: «Если ты на суде все подтвердишь, мы тебя сейчас же освободим. Если нет, тебе придется худо!» Но чистая совесть дороже свободы.

Гражданин Вильяр пробует протестовать. Менье грозят: статья 336-я строго карает за ложные показания. Однако он не сдается. Тогда приводят Барбье. Он повторяет: «Обвинитель Вильяр требовал ложных показаний». У Барбье имеются доказательства... Председатель вовремя останавливает свидетеля:

- Вы обвиняете самого себя. Барбье отвечает:

- Что же, если вам нужна еще одна жертва; я готов... Я счастлив сесть рядом с этими героями.

Бабеф говорил на суде о Руссо, о Мальби, о Дидероте. Барбье и Менье были полуграмотны. Они умели читать только по слогам, с трудом расписывались. Не разум - сердце подсказывало им эти, полные мужества, слова. Гракх Бабеф, окруженный врагами, в их лице увидел тот народ, бескорыстный и справедливый, которому он посвятил свою злосчастную жизнь.

Процесс длился долго: он начался в вантозе - тогда стояли сильные холода. Теперь веселый месяц флореаль. В зале суда темно и душно. Напрягаясь, Гракх Бабеф читает защитительную речь. Он читает уже десять часов без передышки. На лбу пот, срывается голос. Он излагает перед судьями свои идеи: «Аграрный закон» - не лекарство. Только в общности имуществ залог равенства». Бальи смеется:

- Кто же будет собирать плоды, если нельзя сказать «это мое»?..

Бабеф отвечает:

- Счастье в том, чтобы не было «мое» и «твое». Иисус Христос проповедовал равенство, справедливость, ненависть к богатству. Он был за это живым пригвожден к кресту.

Бабеф говорит о своей жизни: он знает, что такую революцию, он знает, что такое голод. Две унции хлеба. Детский гроб.

Здесь все оглядываются: кто-то в зале, захлебываясь, плачет. Это жена Бабефа.

Бабеф говорит об опасности, которая грозит республике.

Вильяр его прерывает:

- Вы хотели погубить республику.

- Нет, мы хотели ее спасти. Революция ничего не дала народу, и народ начинает ненавидеть республику. Что кругом нас? Оглянитесь! Равнодушие. Патриоты, еще вчера пламенные и отважные, теперь молчат. У всех опускаются руки... Но равенство должно восторжествовать. Оно восторжествует. Французская революция только предвестница другой революции, более великой и более торжественной! Они исчезнут - межи, изгороди, стены, тюрьмы, кражи, преступления, виселицы, зависть, ненасытность, обман, двоедумие и червь - точитель всеобщего беспокойства...

На лицах судей досада. Присяжные устали от высокой философии - их клонит ко сну. Бабеф сейчас в темном зале беседует с другим поколением. Он доказал, что не праздные сны его проекты, в них разберутся дети. А теперь пора кончать!..

Здесь человеческое горе меняет голос Бабефа: он не проповедует, он прощается с жизнью, и не слова, только дрожь голоса заставляет присяжных насторожиться. Может быть, они и не философы, но они все-таки люди.

- Если наша смерть предрешена, если для меня настанет последний час, я вправе сказать, что давно его ожидаю. Я привык к тюрьмам и к гонениям. Мысль о насильственном конце меня не страшит: такова судьба революционера. Мои писания останутся. Они покажут, что я жил и дышал только любовью к народу. Одно меня печалит. Вот они, мои дети, я их вижу сейчас. Они здесь, они слышат мой голос. Я говорю им: «Мне горька мысль о вас. Я хотел, чтобы вы были свободными людьми. Что же я могу вам завещать? Ненависть к насилию? Преданность равенству? Нет, это слишком зловещее наследство. Я вас оставляю на рабство. Это омрачает мои последние часы...»

Бабеф ничего не видит: слезы застилают его глаза. Но с удивлением Дартэ глядит на присяжных. Ведь все говорят, что эти присяжные подобраны, что они ненавидят анархистов. И что же - присяжные плачут. Плачет публика. Уныло вытирает нос конвойный. Только с лица гражданина Вильяра не сходит насмешливая улыбка. Национальный обвинитель не страдает сентиментальностью. Речь его проста и ясна. Был заговор? Был. Вот и все. Он знает, что может сильнее всего подействовать на присяжных, на этих мирных провинциалов, которые любят вист, незабудки и спокойствие:

- Довольно! Нельзя переходить от революции к революции. Вспомните восемнадцать месяцев террора. Франция устала.

Во имя усталости он требует столько-то голов: пусть но мешают Франции отдыхать. И присяжные, недавно плакавшие над словами Бабефа, теперь сочувственно вздыхают: что и говорить - все устали...

Жены подсудимых жадно ловят каждое слово, они вглядываются в лица присяжных: вот тот налево, кажется, жалеет, а этот, наверное, хочет засудить. Десятилетний Эмиль спрашивает мать:

- Они уже решили или будут еще думать?.. Мария Бабеф ждет чуда. Поспешно она отвечает:

- Что ты! Еще ничего неизвестно. Бог даст, они пожалеют. Ведь все видят, что Франсуа - честный человек...

Рядом с ней - почтенный гражданин. Это граф Дюфор де Шеверни, самый богатый помещик в окружности. Он сидел в тюрьме при якобинцах. Все меняется: теперь он пришел посмотреть, как судят якобинцев. Услышав шепот Марии

Бабеф, он возмущенно отсаживается подальше: можно ли называть злодея, который хпгел всех ограбить, «честным человеком»?..

Граф Дюфор де Шеверни больше не скрывает своей привязанности к королевскому престолу. Кто же судит «равных»? Королевский суд? Республиканцы?

Антонель, спокойный, как всегда, в последние часы еще раз напомнил судьям:

- Против роялистов мы пошли бы сражаться даже за эту республику. Берегитесь, республиканцы! Вы хотите уничтожить последних патриотов. Что будет завтра? Кто сможет отстоять Французскую республику? Вы убиваете не только нас - себя.

Присяжные уходят совещаться. В последний раз Софи Ланье затягивает: «К оружию, граждане!..» Наступает томительный долгий день. В комнате присяжных душно. Сколько они останутся здесь? Пока не сговорятся. А сговориться трудно. Как ни старались власти, четверо присяжных - патриоты. Граждане директоры с волнением читают ежедневно рапорты о настроении присяжных. Вся беда в законе: достаточно четырех белых шаров, чтобы подсудимые были оправданы. Но ведь оправдание Бабефа - это приговор Директории. Из Парижа несутся вестовые: голову Бабефа! Присяжные спорят, молчат, снова спорят. Вот уже смеркается. Они не сговорятся: четверо настаивают на оправдании. Кажется, Бабеф спасен.<sup>45</sup>

<sup>45</sup> Судебный процесс в Вандоме проходил с 20 февраля 1797. 16 апреля того же года Лазар Карно – вероятно, используя опыт весны 1794 г. – окказал действенную помощь суду, поставив на вотирование закон, предусматривающий смертную казнь за привлечение к действию Конституции 1793 г. Таким образом, основные усилия обвинения направлялись по этой линии: бабувистов следовало подвести под этот закон, что и было сделано.

К тюремному заключению (возможно, за недостатком улик) и ссылке были приговорены: Моруа, Жан-Батист Казен, Луи-Жак Филипп Блондо, Филипп Буонарроти, Шарль Антуан Гийом Жермен; к ним присоединили Марка Гийома Альбера Вадье (17.07.1736, Фуа, - 14.12.1828, Брюссель), бывшего депутата Генеральных штатов, Национального конвента, члена Комитета общей безопасности: <http://vive-liberta.narod.ru/ref/ref2.htm#vd>.

Еще 56 обвиняемых, в том числе Антонель, Феликс Ле Пелетье, Амар и др., были оправданы.

Фердинан Луи Феликс Ле Пелетье де Сен-Фаржо (1.10.1767, Париж, - 3.01.1837, Нейи) – из рода Сен-Фаржо, одной из древнейших, влиятельнейших и богатых дворянских фамилий, младший брат депутата Национального Конвента Луи-Мишеля Ле Пелетье. Начал военную карьеру как адъютант принца Ламбеска; до или вскоре после событий 12-13 июля 1789 г. оставил службу, не присоединился к эмигрировавшим родственникам, но вел относительно спокойную жизнь «частного лица». После гибели старшего брата он втягивается в общественную и политическую деятельность, был принят в якобинский клуб (хотя ему не исполнилось еще положенных 25 лет). После термидорского переворота он сохранял радикальные демократические убеждения и был, по-видимому, участником всех крупных заговоров – заговора во имя равенства, нео-якобинских движений в период борьбы с Наполеоном Бонапартом, сначала консулом, а затем – императором.

На Вандомском процесс он был оправдан (возможно, его просто спасло громкое имя). Сделался опекуном старшего сына Бабефа. По некоторым сведениям, на следующий день после государственного переворота 18 фрютидора V года, он публично заявил о своей поддержке бабувистов и уцелевших участников гренельской трагедии, требовал их реабилитации и оказания помощи их семьям.

После переворота 18 брюмера в числе 36 проскрибированных демократов, осужден к ссылке в Фр.Гвиану, в последний момент эта мера заменена другой – он выслан в провинцию. На своей земле в местечке Баквиль он создал колонию «истинных республиканцев». После неудачного антибонапартовского «заговора Оперы» (24 декабря 1800) он, как неблагонадежный, арестован и отправлен (4 января 1801) на о-в Ре, откуда вернулся в 1803 Париж. Снова подозреваемый властями в политической антиправительственной деятельности, он заключен в Тампль, потом выслан под домашний арест в Женеву. Амнистия в декабре 1804 г. позволяет ему вернуться во Францию, но не меняет его убеждений. В окрестностях Парижа он живет под надзором полиции, затем выслан в Нормандию, где занимает скромную должность мэра Баквilia и председателя кантона. В период реставрации Бурбонов отказывается принести присягу, во время Стадней принимает сторону Наполеона и назначен императорским эмиссаром в деп.Ниж.Сены. При втором возвращении Бурбонов был арестован, отбыл тюремное заключение, вернулся в свое имение, где едва не был убит роялистами, и, постоянно преследуемый официальными властями и неофициальными врагами, вынужден был уехать в Бельгию, затем в Германию.

Во Францию ему удалось вернуться только в апреле 1819. Несмотря ни на что, он продолжал политическую деятельность. Приветствовал конституционную монархию в лице Луи-Филиппа (в июле 1830 г.), но вскоре был разочарован и присоединился к демократической оппозиции.

В камерах подсудимых не спорят, не гадают о судьбе. Там тихо: люди напоследок думают, вспоминают близких, молча жмут друг другу руки. Бабеф не сомневается в близкой смерти. Он помнит слова Гужона: «Чтоб не ошибиться...» Расстегнув рубаху, он пристально смотрит на грудь. Потом встает, по привычке быстро шагает: что-то еще не выполнено... Он пишет жене и детям:

«Добрый вечер, мои друзья! Я готов войти в вечную ночь. Я уже просил моего друга не покидать вас. Я ведь не знаю, что с вами станет. Вот вы добрались сюда, несмотря на все препятствия, на нищету. Ваша любовь вела вас. Но как вы вернетесь?...» Он пишет жене: «Бедная моя, верная подруга», пишет сыну Эмилю: ведь Эмиль его будет помнить. А Камилл? Он просит: «Говорите обо мне Камиллу! Сколько у меня было к нему нежности»... И третий, Кай, - он родился после того, как Бабефа арестовали: «И Каю говорите, когда он настолько подрастет, чтобы понять...» Бабеф просит сохранить его речь на суде. Лебуа обещал ее напечатать. Эта речь будет дорога всем благородным сердцам...

Прощайте! Тонкая нить еще прикрепляет меня к земле, и завтрашний день ее оборвет. Я в этом убежден. Жертва нужна, злые сильнее - я уступаю. А совесть моя чиста. Только жестоко вырывать меня из ваших рук, нежные мои друзья! Прости! Прощайте!.. Еще одно слово. Напишите матери и сестрам. Когда речь будет напечатана - пошлите им. Расскажите, как я умер. Растолкуйте - это добрые люди, они поймут, - растолкуйте им, что такая смерть не позор, а подвиг. Прощайте навеки! Гракх Бабеф».

Ночь. Письмо дописано. Бабеф теперь прощается с Жерменом. Оба вспоминают Аппас, веселые записи, «орден равенства», жизнь. Потом с Дартэ, с Буонарроти: сколько надежд, волнений, горя!.. Они говорят вполголоса. Под окнами лязгают ружья. Часовые отгоняют женщин. Маленький Кай кричит на руках. Тереза Буонарроти умоляет часового: «Передайте ему только это - «я с тобой».

А в комнате присяжных еще душней, и еще угрюмей голоса: «да», «нет», «нет», «да». На первый вопрос о заговоре четверо ответили: «нет». Остался второй: «о призывах к ниспровержению Директории». Неужели спасены!..

Некоторые из присяжных легли на пол и уснули: восемнадцать часов они спорят. Председатель получил инструкции свыше, он оттягивает голосование. «Голову Бабефа!» Четыре ослушника известны всем, хоть голосование тайное. С тремя нечего разговаривать - это якобинцы. Но вот четвертый - гражданин Дюфо. Он отнюдь не террорист, нет, он просто за республику. Зачем убивать патриотов, когда роялисты открыто призывают к мятежу?.. И Дюфо кладет белый шар. Тогда председатель отводит его в сторону. Он шепчет на ухо:

- Я хочу предупредить вас - будьте осторожней. Вас подозревают... Говорят, что вы ухаживали за женой Буонарроти. Мне только что сказал один присяжный, что вы анархист. Я, конечно, начал его разубеждать. Но смотрите - напрасно вы упорствуете. Вы, кажется, отец семейства? Видите... Стоит ли рисковать? Ведь это не маленькое дельце, это Верховный трибунал. В приговоре заинтересована Директория. Я надеюсь, вы меня понимаете?

Гражданин Дюфо наконец-то понял. Пока речь шла о жене Буонарроти, он только удивленно таращил глаза: он ведь ее ни разу не видел. Но Директория... Действительно, зачем рисковать?..

## 22

Четыре часа. На дворе уж рассвело. Утро нехотя входит через маленькие окна бывшего аббатства в угрюмый зал, где еще догорают чадные факелы. Серый мучительный свет кажется туманом. Как бледны и как злосчастны при нем лица женщин! Тереза Буонарроти стоит у барьера, выпростав руки. Она как бы хочет вырвать из рук присяжных таинственный приговор. Жена Бабефа вздрагивает от

каждого шороха, - вот стряпчий прошел, вот Реаль уронил книгу: идут!.. Лихорадочно горят глаза Эмиля, и плачет Камилл. Только на лице крохотного Кая беспечальная улыбка: Кай спит, прижавшись к груди матери.

Спят и вандомские жители: что им суд, Бабеф, белые или черные шары? Они просыпаются от барабанного боя, от цокота, грохота: артиллеристы тащат орудия. Что за напасть?.. Наверное, кончился суд над анархистами...

Как только председатель, побеседовав с гражданином Дюфо, собрал необходимое большинство, он тотчас предупредил коменданта. Войска были приведены в боевую готовность. Пригнали подсудимых. Они глядят не на ту дверь, из которой должны сейчас выйти присяжные, они глядят на женщин, и те улыбаются сквозь слезы.

Все встают. Председатель читает. От волнения он сбивается, путает слова, мертвые казенные слова, которые, сказанные дрожащим голосом, вдруг приобретают простую человеческую значимость, сжимаются руки Терезы Буонарроти. Эмиль, как звереныш, ощерился. Мария Бабеф сложила беспомощно руки: она все еще ждет чуда. Председатель читает медленно. Между двумя длинными фразами он останавливается, как бы набираясь духу. Тогда в зале тихо, будто вошла сюда смерть. Молчат обвинители и подсудимые, заговорщики и судьи, молчат конвойные, молчат дети. Ни вздоха. И вот наконец-то выговаривает он жестокие слова. Директория недаром слала вестовых. Она выторговала две головы. Бабеф и Дартэ присуждены к смерти, другие «равные» к ссылке. Буонарроти кричит:

- Народ, ты видишь, как судят твоих друзей! Народ, заступись за твоего трибуна!

И те, что в зале, кидаются к барьера. Блестят сабли конвойных. Команда. Топот. Взвод солдат быстро оттесняет последних защитников Бабефа. Буонарроти пробует еще что-то сказать но крики, проклятья, плач заглушают его голос. Бабеф наклоняется к нему:

- Прощай, Филипп! Обещай мне, что ты расскажешь современникам и потомству о «заговоре равных».

- Герои прериалия! Ваша участь завидна, пример ваш высок!..

Ужас теперь на лицах у всех. Председатель закрыл глаза рукой. Молчание. Еще нет сил у Марии Бабеф, чтобы вскрикнуть. Адвокатская мантия гражданина Реалия вся в крови. Над ним - Бабеф. И голос Буонарроти: «В сердце, кинжалом...» Тотчас же Дартэ приподымается. Он кричит: «Да здравствует республика» - и, взметнувшись, грузно сползает на пол. Жермен кричит: «Убийцы!» «Равные» кидаются к телам товарищей. Даже солдаты растерялись. Женщины перескочили через барьер. Смятение. Команда: «Холодным оружием! Арестантов в камеры! Публику вон!» Снова блестят сабли. Солдаты тащат окровавленные тела, они бьют осужденных, женщин. Половина пятого. Попыхивают глаза Эмиля: этот не забудет.

Судьба не была милостива к Бабефу и к Дартэ. Их хорошо стерегли. Достать оружие им не удалось. То, что Буонарроти назвал «кинжалом», они сделали сами из пружин тюремных подсвечников. Они точили железо о пол. Они только ранили себя. Рука Бабефа к тому же ошиблась: она ударила ниже, чем следовало. Лезвие, соскользнув, прободало живот. Он не мог больше говорить. Когда пришел к нему врач, чтобы извлечь лезвие, он покачал головой: «Не нужно»... Он очень страдал, но еще хранил надежду умереть от раны.

Комендант Вандомы тем временем бранил адъютантов: что за разгильдяйство. Почему не позаботились заранее?.. Все были настолько уверены в гражданском мужестве какою-то Дюфо, что вовремя не выписали из Блуа «исполнителя высоких приговоров». Комендант приказал вестовому гнать что есть

духу - боялся, как бы Бабеф не умер до прибытия из Блуа гражданина Сансона-младшего, сына парижского Сансона. Дороги плохие - засветло он никак не поспеет. Сансон-младший действительно приехал только в десять вечера. Комендант каждый час спрашивался: «Живы?..» Бабеф и Дартэ лежали на соломе, покрытой бурой, запекшейся кровью. Они не жаловались, не стонали, и тюремщик всякий раз успокаивал коменданта: «Чего им!.. живут»...

Пять часов утра. Гражданин Сансон со своим помощником подымают Дартэ. Тот упирается. Живьем он не дастся. Он открывает рану. Кровь хлещет. Руки Сансона в крови,- впрочем, ему не привыкать. Полумертвый Дартэ еще силен. Он выбивается. Его связывают. Несут. За ним Бабефа.

На площади Арм народу мало: слишком рано. Вандомцы еще спят. Несколько зевак. Несколько преданных Бабефу патриотов. Весеннее утро. Солнце. Сирень в саду аббатства. Бабеф жадно обводит глазами площадь: кто-то рассмеялся, кто-то дружески махнул рукой. Вот она, Мария! С нею дети. Кай на руках. Да, спасибо, верная подруга! Пусть дети видят...

Сансон едва справился с Дартэ: ему помогали два тюремщика. Дартэ кричал, уже лежа под ножом. Теперь перед Бабефом. Он на эшафоте. Он напрягается. Он говорит:

- Прощайте, друзья! Прощайте, народ. Я умираю с любовью...

Кай, улыбаясь, смотрит на блестящую игрушку: нож гильотины падает.

Трибун народа Гракх Бабеф умер 8 прериля года пятого, а по старому летосчислению 27 мая 1797 года, тридцати шести лет от роду.

Тела казненных по распоряжению коменданта были выброшены за город в канаву. Родным их не выдали. Осужденных к ссылке снова посадили в клетки. Жермен воскликнул: «Пошлите меня в Кайену, я и там буду продолжать... если не будет ни одного человека - с попугаями!..» Когда изгнанники приехали в местечко Сан-Ло, к ним вышел навстречу мэр и все граждане. Мэр обнял Буонарроти:

- Мы вас приветствуем, как борцов за святое равенство...

Революция не могла сразу умереть, она еще билась, вся облитая кровью, как недавно бились Бабеф и Дартэ.

А Директория праздновала победу: бал у Барраса, прием у Карно. В день казни Жорж Гризель получил награду за свои бескорыстные услуги: саблю с поясом. Ему выдали также тридцать франков серебром. Трудно сказать, что продиктовало эту скромную цифру: евангельский пример или же финансовые затруднения граждан директоров.

Палачу Сансону-младшему заплатили больше... Гризель ведь сделал свое, а без династии Сансонов существование Франции казалось немыслимым. Вечером Сансон-младший напился допьяна в кабачке «Ба Брэй». Он хвастал, что Сансоны служат государству уже сто двадцать лет, что без них не было бы ни Капетов, ни Барраса. Кто прикончил анархиста Бабефа? Разумеется, Сансон!

Ночью пастух Пьер, возвращаясь в деревню Монтрье, увидел два трупа. Он покрыл их ветками, а вернувшись домой, рассказал о своей находке односельчанам. Луи Вардур, который как-то ездил в Париж за солью, сказал:

- Это Бабеф. Он был честным человеком, за это его убили.

На заре крестьяне деревни Монтрье подобрали тела Бабефа и Дартэ. Они их благоговейно похоронили. Они не знали ни патриотических песен, ни красноречивых слов, которые говорят в Париже на похоронах республиканцев. Они молчали. Только тот же Луи Вардур сказал:

- Его звали Трибун народа... За это его и убили... Его и другого. Вот вам - революция!..

## 23

Сегодня у директора Барраса прием. Гостей услаждает модный тенор Гара. О, каватины Чимерозы! О, груди Терезы... Гости слушают, любуются, обмениваются комплиментами и пьют ледяной крюшон. За окнами жаркая летняя ночь.

- Говорят, что с этим злодеем Дартэ едва справились. Он пролежал пять минут под ножом и все время кричал: «Долой тиранов».

- Невероятно! Кто же вам это рассказал?

- Маркиз, а ему об этом написал граф Дюфор де Шеверни.

- А Бабеф?

- Бабеф до конца разыгрывал невинность, как в пасторали. Обычный фокус террористов!..

Входит Тальма. Тереза Тальен (она ведь здесь хозяйка) восторженно щебечет:

- Ах, наша гордость!.. Тальма!..

Актера обступают. Его просят:

- Усадите нас вашим высоким искусством. Вы ведь так красиво декламируете...

Тальма учтиво кланяется:

- Благодарю за лестный отзыв. Но декламировать я, к сожалению, не могу. Пусть лучше вам споет Гара. Что я могу читать? Клятвы Брута? Они вас только расстроят. Я должен щадить вашу чувствительность. Увольте!..

Тальма подходит к мужчинам. Здесь - политические темы:

- Роялисты хотели пойти по стопам Бабефа, но это им не удалось. Вы помните коменданта Мало, который так удачно разбил бунтовщиков при нападении на Гренельский лагерь?

- Как же! Мне сказали, будто он из монахов...

- Возможно. Во всяком случае, теперь он честный республиканец. Он вошел в сношения с эмиссарами короля, а потом их выдал Директории.

- Ага! Еще один Гризель...

Гражданин Баррас смеется.

- Вы не поверите, до чего теперь этот Гризель популярен. Все хотят быть Гризелями. Какой-то Гонден пытался меня убедить, что это он выдал Бабефа, что он - Гризель. Но Мало действительно республиканец. Анархисты теперь бессильны, зато сторонники Людовика подымают голову. Им, конечно, помогают англичане. Сколько гиней было потрачено на выборы!..

Баррас вздыхает: Директория тоже пробовала подкупить, но куда же «мандатам» до золотых гиней! На выборах победили роялисты. Карно хорошо: он с ними ладит. А Баррасу приходится туго. Согласно конституции, один член Директории должен был выйти в отставку. Пять директоров провели бесконную ночь. Жребий пал на Летурнера. Нелегко убираться из Люксембурга! Чтобы утешить несчастного собрата, четверо оставшихся сложились. Каждый дал по десяти тысяч франков. Но что значат сорок тысяч, если сравнить их с одними подарками интендантов?.. Баррас уходу Летурнера радовался. Конечно, лучше бы Карно!.. Но ведь жребий мог пасть и на него, Барраса... При этой мысли виконт бледнел. Он волновался: кого же выберут на место Летурнера?..

Сейчас Барраса поздравляют:

- С новым членом семейства!

Илья Эренбург

ЗАГОВОР РАВНЫХ

Ему, однако, не до шуток. В Директорию избран посол Бартелеми<sup>46</sup>. Он уже выехал из Женевы. Все знают, что Бартелеми дружит с роялистами. Он, конечно, возьмет сторону Карно. Притом он много опасней Летурнера. Итак, все против Барраса! Даже здесь, у него в гостях, молодые люди перешептываются:

- Вы читали статью Барриеля?.. Здорово он отхлестал Барраса!.. Там насчет свидания с «бабувистом» Жерменом... Говорят, Баррас в бешенстве...

Солидные гости заняты делом: господин Гоберт обсуждает поставку фуражи для северной армии, господин Мальяр поставку провианта для альпийских войск. Господин Делание хочет получить концессию на леса. А господин Уврар, краса республики, Уврар, самый богатый плут Франции, - о чем он толкует тихонько с хозяином? Флот? Соль? Седла? Нет, сегодня голова Уврара занята более поэтическими вещами: он торгует у гражданина директора красавицу Терезу. Он знает, что Баррас просчитался: Тереза способна разорить кого угодно. Но Уврара хватит, чтобы поднять самую дорогую потаскуху республики. Поговорив, они жмут друг другу руки: видимо, сошлись.

Брезгливо морщась, проходит Тальма из одной залы в другую: повсюду «кожа», «десять тысяч», «подкупить администратора», повсюду сделки, сплетни, интриги.

Душно! В этом году на редкость жаркое лето... Тальме невмоготу среди разряженного сброда. Еще раз какая-то супруга поставщика сукна лепечет:

- Прочтите монолог!.. Ах, я чувствую «Отелло» до глубины души! А вы?

Тальма улыбается:

- Нет. Сейчас я чувствую до глубины души другую пьесу: «Мадам Анго».

Он откланивается, уходит. Душно и на улице... Хоть бы гроза нашла! Но в черном небе неподвижные, густые звезды. Их тысячи. Среди них одна «Нептун» - ее открыл Лаланд. Он вспоминает. Погреб, чердак. Сейчас дом продан, да и больше не нужны никому ни чердак, ни погреб. Все перебесились. Андре Шенье говорил о свободе. Давид при Робеспьеере мечтал о равенстве. Что же теперь? Миллионы господина Уврара. Неужели за это погибло столько благородных сердец?.. Неужели революция - это только подвиги, мечты, кровь, преступления, горячие слова, примеры мужества и зверства, а после - лакеи во дворце, севрские бонбоньерки у крестьян, шлейф мадам Анго и скука?

Тальма идет по темным улицам. Он мучительно думает, думает вслух, пока его не останавливает актер-приятель:

- Ты что же, разучиваешь новую роль? Какую?..

- Роль современника. А впрочем, я устал... Спокойной ночи!

Гости тем временем разошлись. Баррас задержал Леревельера и Рейбеля: им надо о многом поговорить. Баррас вдруг забывает и прериаль и то, как он предал «grenelльцев». Он оглядывается: не подслушивают ли швейцары, и уныло говорит:

- Дело дрянь! Две трети «совета» - против. Бартелеми, Карно. Если не случится чуда, республике - конец. А с нею - нам.

<sup>46</sup> Франсуа Бальтазар Бартелеми (20.10.1747, Обань, деп.Буш-дю-Рон, - 3.04.1830, Париж). При Старом режиме начал успешную дипломатическую карьеру благодаря именитым и влиятельным родственникам. В годы Революции был послом Франции в Швейцарии, способствовал заключению Базельского мирного трактата, договора с Пруссией, Соединенными провинциями и Испанией (весна-лето 1795 г.). Избранный в Исполнительную директорию, пробыл в ее составе недолго, после переворота 18 фрюкидора был арестован как «роялист» и сослан в Кайенну. Оттуда ему удалось бежать и добраться до Англии. Он возвратился во Францию после переворота 18 брюмера, стал членом Сената, затем графом Империи. Изъявив верноподданнические чувства при реставрации Бурбонов, получил должность королевского комиссара и титул маркиза.

Илья Эренбург

ЗАГОВОР РАВНЫХ

Vive Liberta и Век Просвещения, 2009

Это ясно всем и без слов Барраса. Долго они гадают: кого призвать на помощь? У рабочих нет оружия, к тому же рабочие больше не пойдут сражаться за республику: «Видали»... Патриоты уничтожены. На кого же опереться? Как-никак они не роялисты. Они хотят спасти республику. Может быть, положиться на армию? На генералов?.. Гош шлет Директории одно предупреждение за другим: «Неужто во Франции больше нет республиканцев?» Что же, можно вытребовать Гоша из Гааги с преданными ему войсками. А как настроен Бонапарт, герой Италии, кумир Парижа?.. Без Бонапарта - трудно...

Баррас старается успокоить товарищей:

- Бонапарт хоть и честолюбив, но он стойкий республиканец. Талейран сегодня мне рассказал, что Бонапарт потребовал у папы контрибуцию: сто картин или статуй на выбор, но обязательно бюст патриота Марция Брута...

Виконта легко обнадежить. Недоверчиво усмехаясь, Леревельер говорит:

- А вы забыли, что он нам писал еще в нивозе? Забыли?.. Хорошо, я вам напомню. Он писал: «Настало время объявить, что революции больше нет, она закончилась»...

Февраль-май 1938  
Париж